

Олеся Николаева

Брат мой Битов

В преддверии «Человека в пейзаже»

— Ничего, что я тебя втягиваю во всякие мистические приключения? — спрашиваю, задыхаясь от радости и предчувствуя желанный ответ.

— Да я только и жду, чтобы меня кто-нибудь втянул... Так куда мы едем?

Наутро мы на битовской желтой «четверке» отправились в Лавру, забрали оттуда иконописца архимандрита Зинова и махнули неведомо куда — Владимирская область, город Юрьев Польский, потом еще по шоссе — село Небылое, изба на окраине, неподалеку от пруда, ключи — вот: их дал моему мужу иеромонах Авель, который там жил и служил, а сейчас гостил в отпуске, в Москве. А адрес — на словах и жестах: как съедете с основной дороги — там направо-налево и наискосок. Шел 1983 год.

Ехали с шутками-прибаутками, с серьезными разговорами о живописи, об искусстве, о творении, о Творце, ели на ходу бутерброды, прогулялись по Юрьеву, хотели даже зайти в местный ресторан, который располагался в бывшем монастырском корпусе, да он был закрыт. Уже и не чувствовалось, что Андрей познакомился с отцом Зиновом лишь этим утром, так вольно текла беседа, в которую вливались и вливались ручейки побочных тем, делая ее неизбывной и бесконечной. Собственно, она и продолжалась, пусть порой лишь мысленно, до конца дней.

Приехали уже в темноте, ломились поначалу не в ту избу, смеялись, наконец нашли то, что искали, вошли впотьмах — выяснилось, что в доме нет электричества. Отыскивали свечи, распаковали кулек со скудным провиантом и бутылкой вина, сели вечерять.

Впрочем, Битов потом воспроизвел кое-какие наши разговоры на страницах «Человека в пейзаже», впустив в пространство прозы других, не похожих на нас персонажей, в иных обстоятельствах и с иными событиями, но вложил в чужие уста наши слова.

Хотите удостовериться?

«— Я в дьявола не верю, — вдруг воспротивился я.

— То есть как? — воскликнули Павел Петрович с неведомо откуда слетевшим к нам Семионом. *(Никакой, конечно, это был не Семион, а отец Зинов, и не Павел Петрович, а мой муж — тогда еще Володя Вигилянский. — О.Н.)*

Николаева Олеся Александровна — поэт, прозаик, эссеист. Профессор Литературного института им.А.М.Горького. Автор многочисленных книг стихов, прозы и эссе. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной премии «Поэт» (2006). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Переделкине.

— То есть в Творца, в Христа, — залепетал я, зажатый двумя мудрецами. — Верю как в реальность, что они были... есть... а дьявол так же есть, как они, — нет. *(Это уже сам Битов, а не его персонаж. — О.Н.)*

— Он не верит... — испуганно прошептал Семион своей белой подружке. — Во что же он тогда верит?!

— Слушай его, слушай, — сказал Павел Петрович.

— Да ведь весь воздух кишит! — и Семион, как всполошенный петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь пространство. *(В действительности тогда взмахнул широким рукавом греческой рясы отец Зинон. У меня до сих пор эта сцена перед глазами. — О.Н.)*

Я отшатнулся. Павел Петрович предательски кивал.

— Чем кишит? — разозлился я.

— Невидимыми существами! — и он заозирался, будто в страхе *(Так и было! — О.Н.)*

— И в тот свет — не верю! — уперся я.

— То есть как? — Семион, казалось, лишился дара речи.

Павел Петрович не без интереса на нас поглядывал.

— А так, — сказала я зло.

— Так ведь раз есть свет этот, — сказал Семион голосом вдруг мягким и вкрадчивым, — так есть и тот...» *(Очень хорошо помню этот довод отца Зинона. — О.Н.)*

Впрочем, потом слова отца Зинона, художника, иконописца, он вкладывает в уста пейзажиста Павла Петровича, воспроизводя свои тогдашние разговоры с архимандритом и создавая при этом иную реальность, в которой, однако, как сквозь очень мутное и деформированное «пьяное» стекло, угадываются силуэты и тени реальности первой. (Так в автобиографической «Дачной местности» он заменил дочь Анну на сына Сергея. Так впоследствии Андрей познакомил меня в Доме журналистов на Никитском со своим приятелем, с которого писал Павла Петровича. Так и сказал, указал на улыбающегося невысокого лысого человека: «А вот это Павел Петрович!»)

Все эти высокие и глубокие рассуждения о Творце и творении, о Слове и образе, о Первом Дне, о земле и воде, о человеке и первородном грехе, о творчестве и об искусстве, о природе и культуре здесь «снижены» тем, что ведут их «под бутылочку» с «патефончиками» полупьяные маргинальные персонажи: не вещают, а выбалтывают, выветривая пафос и серьезность оригинала.

Да много чего из наших тогдашних разговоров я узнавала, читая рукопись повести, которую Андрей закончил через два месяца после нашей поездки в этот скит (23 августа 1983 года) и которую он сунул мне в самолете, когда мы летели в Тбилиси в начале октября, рассчитывая попасть на Тбилисубу: вольный грузинский праздник с народными гуляниями, реками разлитыми молодого вина и блюдами с виноградом. У меня там были дела с издательством «Мерани» и Коллегией по переводам, и я решила превратить деловую командировку в праздник.

А потом уже в «Ожидании обезьян» (в трилогии «Оглашенные», куда входит «Человек в пейзаже») тоже находила следы наших разговоров, странствий, приключений.

Недаром он в предисловии к этой последней части написал «от автора»: «Автор просит благословения у настоятеля монастыря Моцамета архимандрита Торнике и иконописца Архимандрита Зенона *(тут он ошибся: «Зи» — Зинон. — О.Н.)*. Автор благодарит литератора-послушника В.Н.Вигилянского» *(хотя он никаким послушником не был)*.

Так мужа моего Андрей сугубо поблагодарил за историю, которую тот ему рассказал — о том, как он трижды нырял в Абхазии в ледяной поток за камнем мученика Василиска, и даже подарил ему, Битову, камень со следами застывшей мученической крови. Этот рассказ, несколько его переиначив и отдав его своему герою, Битов и вставил в «Ожидание обезьян».

А уже я потом писала послесловие к этой книге... Он попросил, сказал: «Ну, ты же там все знаешь...»

Но сначала надо рассказать об архимандрите («мама») Торнике, у которого автор «Оглашенных» просит благословения... Собственно, именно этот необыкновенный человек положил начало нашей дружбе. Итак, маленькая вставная новелла.

Мама Торнике

Грузинский архимандрит Торнике сидел дважды.

Первый раз за царицу Тамару. Насколько я помню, он тогда подвизался в монастыре Зедзени, на самой вершине горы. И туда поднялись советские туристы. Мама (по-грузински — отец) Торнике принялся их просвещать, стал рассказывать про крещение Грузии. Упомянул, конечно, и святую царицу Тамару. А один из туристов, полковник, себе на беду, скабрёзно хмыкнул и обозвал ее нецензурным словом. Ну, и получил от архимандрита по заслугам, прямо в зубы: тот, как рыцарь за честь Прекрасной Дамы, вступился за святую царицу. Полковник на него и донес куда следует.

Второй раз мама Торнике сидел за то, что крестил еще в советские времена в Чёрном море пионерский лагерь. Я представляю это так: пионеры пошли купаться, а он над каждым произнес: «Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца (аминь), и Сына (аминь), и Святаго Духа (аминь)». Трижды окунул, и пионеры вышли из воды юными христианами. Возможно, именно он и стал их крестным отцом.

После этого он вновь уединился на высокой горе, но уже в другой части Грузии — неподалеку от Кутаиси, и восстановил там разрушенный монастырь Моцамета — святых Давида и Константина.

И вот этот чудесный архимандрит собирался приехать в Москву. Наш друг, патриот Грузии, как и мы, сказал нам:

— Наконец-то я покажу вам настоящего подвижника. Он будет проездом в Москве, и я вас с ним познакомлю. А уж поскольку он здесь окажется, он пойдет в «Детский мир» покупать подарки для своих малолетних внучек.

Мы удивились:

— Что это за подвижник, у которого внучки и нужда в подарках?

— До монашества он был женат и звали его отец Георгий, вот у него и внучки. А потом он принял монашеский постриг с именем Торнике.

Наконец он приехал. Двери распахнулись, и... Нет, кажется, таких людей земля уже давно перестала производить на свет, разве что в виде великого исключения вспомнила вдруг о славных временах древнего мира — временах праотцев, Патриархов и Пророков, на которых Бог и природа не скупилась своими дарами, являли свое искусство, достигая высот художественности и отвечивая им по девятьсот лет жизни!

На пороге стоял величественный человек, не старик, но старец двухметрового роста, с роскошными седыми кудрями и такой же белоснежной густой бородой.

Прекрасное лицо его было тончайшей лепки и резьбы: римский нос, высокий лоб, острые скулы и добрые мудрые глаза, знающие тайны, сокрытые от простых смертных.

Одет он был в темно-вишневый подрясник, на котором золотился большой наперсный крест. Сам облик его уже был проповедью. За этим человеком хотелось пойти, куда бы он ни пошел, и около него хотелось пребывать, где бы он ни оказался.

Когда мы, сопровождая его, отправились, наконец, в «Детский мир», все — и прохожие, и продавцы, и покупатели, и старики, и дети — застывали потрясенно, чуть приоткрыв рот, увидели диво, а затем завороченно и бессознательно, словно не желая расставаться с чудесным виденьем, двигались за ним следом. Некоторые даже просили у него благословения. А он шел с просветленным лицом сквозь толпу, как посланник иного мира, вестник Небесного Царства, оказавшийся в самом центре суетливой атеистической Москвы и свидетельствовавший о том, что есть и другая жизнь, и другая Россия...

Уезжая, он пригласил моего мужа к себе в монастырь:

— Женщинам туда вход воспрещен, — пояснил он мне. — А муж твой пусть приедет помолиться. «Моцамета» значит «исполнение желаний»! Ко мне и из России приезжали креститься, писатель Андрей Битов, может, знаете?

Мой муж, недолго думая, отправился туда, да не один, а с другом — иеромонахом из Лавры. Заехали сначала в места ссылки Святителя Иоанна Златоуста, побывали на месте мученической смерти святого мученика Василиска, которая произошла над источником, куда стекла его честная кровь. Нырjali в этот источник с ледяной водой, чтобы достать со дна один из камней, на которых, по преданию, запечатлелись следы его праведной крови, а уж потом проехали Кутаиси и поднялись в Моцамети.

Вокруг была несказанная красота! Монастырь располагался на утесе, формой напомиравшем перевернутый утюг. И на самом его острие, над пропастью, высился чудный храм, возле которого было монастырское хозяйство. Отсюда, сверху, пасшиеся внизу коровы казались божьими коровками, а добротные крестьянские дома — спичечными домиками.

Но зрелище, которое им открылось возле храма, и вовсе их поразило. Был воскресный день, и все пространство здесь было заполнено народом. Люди держали в руках кур, петухов, уток, вели на веревках коз и барашков. Куры кудахтали, петухи кукарекали, барашки блеяли. Литургия уже завершилась, и на пороге показался священник, который взял одного из таких барашков на руки и пошел с ним вокруг храма. Толпа двинулась следом.

Лаврский иеромонах и мой муж замерли в недоумении, наблюдая эту национальную специфику здешнего Православия.

— А, — махнул на это рукой отец Торнике, когда, увидев их, подошел с благословением. — Это попросился послужить священник из местных. Есть такой здешний обычай — жертвовать на монастырь курами и барашками. Однако жертва считается принятой, если священник обнесет ее с молитвой вокруг храма. Тут еще много следов язычества — в некоторых домах и селах жители просят священников, чтобы те нарисовали у них во лбу крест кровью жертвенного петуха. Но в своем монастыре я этого не позволяю.

— А куда вы деваете потом этих кур с барашками? — спросил иеромонах.

— Они у меня живут в специальных загончиках, пока не приезжают люди из ближайшего колхоза, которые их покупают у монастыря. Мне-то эти куры ни к чему — как монах я мяса вовсе не ем. Но вас, — он посмотрел на моего мужа, — я все-таки сегодня угощу цыпленком табака. Прошу!

И он жестом пригласил их в дом.

Гости оказались в большой комнате, можно даже сказать — зале. В ней стоял белый рояль, длинный стол со стульями, в углу была печка, у окна — швейная машинка. И на все это благолепие из красного угла взирали святые лики.

— Мы здесь живем вместе с леди. Только я и леди. И никого, — загадочно сказал мама Торнике.

Мой муж и иеромонах смущенно переглянулись: очень эта «леди» не вписывалась в картину уединенного монастыря.

В залу тем временем вошел огромный белый дог.

— Знакомьтесь. Это и есть моя Леди, — улыбнулся отец Торнике, потрепав ее по холке. — Располагайтесь! Сейчас я буду с вами разговаривать и печь хлеб. Вы любите лаваш?

Он достал с полки муку.

— Давайте я вам помогу, — с готовностью вызвался мой муж.

— Нет, — решительно отказался священник, — я все делаю сам. Сам готовлю, сам убираю, сам себе шью. Все мои подрясники, рясы, все, что на мне, — это мое рукоделие. Женщин вообще не допускаю в монастырь. Разве что в храм, если придут помолиться. Человек должен постоянно трудиться, ибо лень губительна. Порой она приводит к слабоумию. Вот сейчас стало много открываться в округе старинных горных монастырей. Монахи там живут по двое, по трое и... голодают! Не могут самих себя прокормить! Очень часто они, молодые, ко мне, старику, приходят на поклон, чтобы поклянчить. Я никому не отказываю, однако, стыжу: «Вы — сильные, крепкие, а попрошайничаете! Где ваше монашеское рукоделие, которым пустычники древности добывали себе пропитание?» Даю им денег и выгоняю с позором.

Отец Торнике, закатав рукава подрясника, уже вовсю месил тесто для хлеба и прикрыл тяжелой крышкой шипевшего на сковороде цыпленка, возле которого томилась на маленьком огне в горшочке зеленая фасоль.

— А там, в подвале, у меня целебные настойки, которые я сам готовлю на травах, — продолжал архимандрит, ловко переворачивая хлеб. — Меня в лагере так и называли «лекарь», кличка такая у меня там была. Пойдемте, пока готовится еда, я вам покажу.

Они спустились в подвал. Он представлял собой большое помещение, весь пол которого был уставлен бутылками, бутылочками, банками и склянками с настойками. Большие и маленькие, аккуратные и растрепанные пучки трав свисали с потолка и стен. Это была целая фитолaborатория, хранилище Богом данных целебных веществ...

— Это — от давления, это — от одышки, а вот это — от кашля, — пояснял лекарь-священник, обводя рукой комнату и притрагиваясь то к корзинке, то к склянке. — Господь врачует нас Своими дарами — земными и небесными.

Однако пора было уже и к столу.

Настоятель расставил глиняные тарелки и миски, стаканчики, достал кувшины с питьем, положил моему мужу обещанного цыпленка, а себе и иеромонаху — плодов земли: фасоли, шпината, пахучих помидоров и зелени, и трапеза началась.

— Поначалу я был здесь в монастыре один, совсем один. И чаял жития отшельнического, когда есть лишь душа и Бог, и более никого. Но потом сюда потянулись местные жители — в храм помолиться, ребенка окрестить, совета священнического попросить. Стали приезжать и люди издалека — из Тбилиси, из Москвы, даже из заграницы: как откажешь, если у человека скорбь или болезнь, или вопрос неразрешимый, или нужда в покаянии? Как откажешь, если просят пособоровать больного или отпеть умершего?

И он тяжело вздохнул. Потом поднялся из-за стола, сел за белый рояль и заиграл Шопена.

Все это было так необычно, так чудесно! Высокогорный монастырь. Отшельник, старый лагерник. Царица Тамара, за честь которой он в свое время вступился и пострадал. Белый дог Леди, белый рояль, целебные травы, Шопен...

Здесь у отца Торнике жизнь действительно представляла во всей своей подлинности. Она была нерасторжимо и страшна, и прекрасна, как «Господи помилуй» и «Аллилуйя». В такие моменты человек чувствует на себе взоры Всевышнего, понимает, что сердце его — в руках Божьих, все его входы и исходы ведает Господь, все давно начертано у Него в Книге Жизни.

Мой муж вышел на воздух. Было уже темно. По безднам, над которыми нависал монастырский утес, лепился туман. А прямо над головой сияли огромные звезды.

Какая-то шальная курица — тварь, которой Господь не дал разумения, — не дождавшись, когда ее отдадут колхозу, перелетела через загородку импровизированного курятника и, кудахтая, сорвалась в пропасть. Туда же устремилась и вода из умывальника, которой муж ополоснул лицо и руки. Где-то далеко, там, внизу, залаяли собаки... А возвышающийся надо всем храм, казалось, стягивал к себе всю округу, не давал пространству расползаться бесформенной массой и придавал ему и форму, и смысл.

Крещение

Вот к этому архимандриту Чабуа Амирэджиби с Резо Габриадзе в начале восьмидесятых и привезли крестить Битова. Обоих он стал считать своими крестными отцами. Так и говорил: «А у меня целых два крестных отца!» Правда, с годами он заменил Чабуа на маму Торнике. Но все равно так и осталось: два крестных отца. В конце жизни это аукнулось, когда сам Андрей захотел стать вторым крестным своего правнука.

Собственно сразу после этого мы с ним и подружились крепко-накрепко, когда я ему сказала таинственно: «А я все знаю про Моцамета! Мама Торнике!» И так стояли и смотрели друг на друга, словно были связаны одним большим секретом.

Сели в ЦДЛ за отдельный столик и, как заговорщики, стали, перебивая друг друга, рассказывать о маме Торнике и его обители. Вспомнили и про его догиню Леди (не она ли перекочевала на страницы «Человека в пейзаже»: «*мраморная богиня ослепительного ужаса и красоты*»?) Тогда же и договорились, что обязательно отправимся в Грузию вместе.

— Я и раньше хотел креститься, но Резо меня останавливал, — сказал Битов. — Сказал: подожди, то ли еще увидишь! Я сам тебя туда отвезу. И Чабуа, узнав об этом, тоже решил отправиться с нами — для верности, а то, как он сказал, много бывает препятствий на пути к Крещению. Да и путь неблизкий: из Тбилиси до Кутаиси, а там еще и под гору.

...Вот я и позвонила ему, водителю желтой «четверки», когда машины у меня еще не было, а она была жизненно необходима. Попросила, чтобы он отвез нас с моим духовником в Небылое. Зачем? А просто: отцу Зинову позволили отлучиться на несколько дней из монастыря, и он захотел куда-нибудь отправиться, а никаких идей насчет этого у него и не было. Тут-то и возник этот иеромонах Авель, с его скитским домиком в почти опустевшем селе посреди лесов и полей. А как его везти туда без

машины? Итак, я вовлекла Битова в мистическое приключение, которого он, по его словам, «как раз и чаял, и ждал». В одной из книг есть у него рассуждение про монаха в длинном подряснике, идеально вписанном в пейзаж. Помню, как наутро, когда мы вылезли из избы отца Авеля, огляделись при свете и пошли в лес, Битов залюбовался отцом Зином, который поднялся на холм и замер. Гармония — это совпадение образа и реальности, — как-то так он сказал тогда.

Сам себя считал постмодернистом, а на деле — чистый платоник: во всем земном и материальном пытался отыскать эйдос, в феноменальном — ноуменальное, в нерукотворном — Замысел, в рукотворном — идею, в жизни — линию судьбы, в обстоятельствах — указание Промысла Божьего. А при этом с Богом он общался как-то накоротке. Сидит с рюмкой в руке и рассуждает о том, как смотрит на него Господь да приговаривает: ну, выпей, выпей еще рюмочку, а потом — все, достаточно, тебе хватит! И часто было такое впечатление, будто он прислушивается к этому голосу. Иное дело, кому именно на самом деле он принадлежал. Но было что-то трогательное и детское в этом внутреннем обращении и вслушивании.

Прощаясь с нами (он с отцом Зином уезжал из Небылого, а мы с моим мужем еще оставались здесь), он сказал: осенью обязательно вместе поедем в Тбилиси. И поехали — он, я и мой муж. А отец Зион хотел да не смог: на этот раз не отпустили из монастыря.

В Грузию!

Билеты на самолет я привезла ему поздно вечером накануне вылета: покупала их по блату у тещи покойного поэта Володи Шлёнского, которая работала начальницей в кассах Аэрофлота. У Битова сидела Валерия Нарбикова, и он, совершенно не стесняясь, спрашивал меня при ней: «Давай я ее выпровожу, а?» — «Зачем?» — «А чтобы не выпендривалась». Она и не выпендривалась, она просто сказала мне:

— Как? У тебя трое детей, две собаки, три кошки? Я бы так жить не смогла. Нет, это не для меня.

— А тебе это никто и не предлагает, — раздраженно ответил Андрей, словно защищая мой домашний уклад.

Как-то раз он заметил:

— А твой муж — гордится.

— Да чем же?

— Ну, что у него всего много, все есть — дети, жена, семья.

У Битова были такие периоды, когда ему очень нравилась «мысль семейная»: он даже в какой-то момент, уже живя в Переделкине (середина 90-х), решил почувствовать себя таким патриархом и собрать под своим кровом и маму — Ольгу Алексеевну, и всех жен, и детей. Вот — все женщины, все дети, все внуки в сборе, а он — главный и мудрый — простирает над ними крыло. Но это не вполне удалось: собрались вокруг него, помимо матери, только первая жена Инга с дочкой Анной и последняя, третья — Наталья с маленьким Егоркой. А Ольга, вторая, которая между ними, не согласилась. И ее сына Вани тоже не было на этой семейной трапезе, то есть осталась в стороне целая ветвь. И тем не менее никогда Андрей не был так прост, легок, весел, радушен, как в те дни. Ездил в супермаркет, покупая продукты, собирал гостей: по летнему времени — под окнами своего домика, у костра, осенью — в комнате, где все сидели чин по чину за большим столом, а больная Ольга Алексеевна лежала тут же на

диване и участвовала в разговоре. Кажется, она запуталась в его женах, и Наташа, третья жена Битова, объясняла ей, что это она — законная.

— Законная я! — повторяла она.

Между прочим — и Ольга, и Ваня, и Анечка, и ее дочка Полина, внучка Битова, — мои крестники... Битов как-то раз позвонил мне и попросил срочно отвезти их в Переделкино (в середине 80-х) и там покрестить. Я заехала за ними куда-то на Юго-Западную, и все утрамбовались в моей маленькой машине: Ольга с Ваней и Аня с маленькой дочкой Полиной — на заднем сиденье, Андрей впереди рядом со мной, чтобы ревниво следить, как я веду автомобиль. До этого он дал мне один урок вождения, приговаривая: главное — не давить население и не портить железо, сшибая по пути твердые предметы. И потом, через много лет, когда я часто увозила его домой с общих мероприятий и посиделок, он с удовлетворением отмечал:

— А ты хорошо водишь! Рационально и спокойно.

...Тогда же они все были крещены по самому полному чину — «с погружением»: такая великолепная купель была в Храме Преображения Господня в Переделкине.

А выросший крестник Ваня недавно поставил мне в укор, что я плохо за него молюсь, поэтому у него в жизни все не так, не туда, не то. Наверное, да, плохо, прости, Ваня, прости!

Сойдя с самолета в Тбилиси, мы расстались: Битов поехал к Резо Габриадзе, а мы — к нашим друзьям Лохвицким, но вскоре, не успели мы переодеться и глотнуть чая, он позвонил и сказал, что Резо нас приглашает на ужин. Так мы потом и ездили то друг к другу, то к общим друзьям. В один из дней к нам присоединился прекрасный грузинский поэт Бесик Харанаули и позвал нас всех к кому-то на день рождения. В Грузии это было запросто: друг моего друга — мой друг. Пришли. Сели рядком, влились в общее веселье, и вдруг после энного тоста какой-то захмелевший гость кинул что-то пренебрежительное о русских.

Битов напрягся.

— А ну — повтори! — и сжал кулаки.

Тот криво усмехнулся в ответ.

— Пойду набью ему морду! — Битов вскочил из-за стола. Мы с Резо принялись удерживать его, хватая за руки, но, казалось, он еще больше бушевал от этого и вырывался.

— Лучше пойдем отсюда, пойдем!

Буквально силком затолкали его в такси, приехали к Резо, но он все не мог успокоиться.

— Я — антисоветчик, — говорил он, — но я и империалист! Русский империалист.

Этот эпизод сильно его раздражил. По какому-то незначительному поводу вдруг прикрикнул на Левана, подростка, сына Резо, назвав его почему-то «Иудушкой», на жену («Уйди, Крошка!»), потом повернулся ко мне, руки у него дрожали, я впервые видела его таким гневным, и спросил растерянно:

— Почему меня разывает от ярости? Может, во мне бесы?

— Успокойся! Ты же в них не веришь! Их же для тебя нет.

— Зато они верят в меня. Я-то для них есть... Может, какие-нибудь таблетки мне пить?

Вот так мы с ним и общались: с какой бы ерунды ни начинался наш разговор, где бы мы ни встречались, так или иначе непременно соскальзывали в метафизические объяснения: Бог, бесы. Могу утверждать, что он был человеком богобоязненным. Знал, что такое «страх Божий».

Начало

Мы познакомились с ним, когда мне было шестнадцать лет, я училась в десятом классе. А он — уже известный писатель, как раз в те поры опубликовал великолепные «Уроки Армении» в «Дружбе народов», уже написал «Пушкинский Дом», экземпляр рукописи которого носил в своем потертом кожаном портфеле. Его поздно вечером привезли к нам в гости из ЦДЛ мои родители: хотели еще посидеть, выпить, поговорить. Папа, между прочим, принимал самое активное участие в публикации «Уроков...». Он тогда был заместителем главного редактора «Дружбы».

И вот я говорю в прихожей по телефону — договариваюсь о завтрашнем походе в зоопарк, это 8 марта, выходной день в школе, и тут входят радостные папа, мама и с ними — о, я таких людей вообще никогда не видела, как тот, который с ними... Почему-то у меня сразу возникло предчувствие, что это человек особый, который будет иметь отношение к моей жизни.

Я тут же оборвала телефонный разговор.

— Вы посидите с нами? — спросил он, когда мы познакомились.

Конечно, посижу.

— А стихи читаете нам? А споете?

И почитала, и спела... Да, я тогда пела свои песни и подыгрывала себе на пианино.

Заговорил о своем (и потом через много лет снова и снова возвращался к этой теме), а я сидела, затаив дыхание и развесив уши:

— Самый «разврат» начинается там, когда понимаешь, что какое-то «ты» — это тоже «я». Меня поразило, когда мне сказали: «А мы вчера о тебе говорили...», то есть я, не ведая о том, присутствовал параллельно в другой точке пространства. Это умножение «я» среди множества других «я» было для меня открытием...

Рассуждал о «непрерывности» времени и — о его «прерывности», а я внимала, примеряя на себя: у меня-то какое, прерывное или нет? Рассказывал о том, как он завоевывал первую жену, угнав у ее отца автомобиль (нигде потом я не встречала этой истории в его прозе), что произвело на меня огромное впечатление: надо же — какой авантюрист! Пират!

Уже собираясь уходить, открыл свой потертый черный кожаный портфель и достал из него толстенную рукопись:

— Это мой новый роман. Будете читать? Прочитайте за три дня, а то у меня практически не осталось экземпляров.

— Конечно.

— А вы? — это ко мне.

— Обязательно.

Взяла роман и читала всю ночь напролет, как-то торжественно, сглатывая от волнения слюну.

Мама вернула ему рукопись через три дня, а я увидела Битова лишь через три года, в ЦДЛ, накануне моей свадьбы. Я-то думала, что он меня не узнает, но — нет, так и сказал: «А я вас часто вспоминаю...» Такие вещи производят впечатление на юное сердце! И да — он был красавец! Для меня это было важно. Мне было двадцать лет.

Недоразумение

Потом он сам пришел к нам, но уже не в родительскую квартиру, а в квартиру моей свекрови, писательницы Инны Густавовны Варламовой, где мы тогда (один год) жили с моим молодым мужем. То ли это были какие-то диссидентские проводы, то ли приехали американские издатели Карл и Эллендея Профферы, но народу в эту небольшую двухкомнатную квартирку на Аэропорте набилось преполно. И тут — Битов:

— Красивый у вас муж!

Так они познакомились.

У меня на груди в сумке-кенгуру висела трехмесячная маленькая дочка Александрина.

— Прелестное у вас дитя!

Через много лет она будет брать у Битова интервью, даже не подозревая о столь давнем знакомстве с ним, а он будет так мил с ней, так обаятелен и дружелюбен, что это еще раз подтвердит мое чувство внутреннего родства с ним.

Потом виделись то и дело в ЦДЛ. Поэт N, встретив меня, сказал:

— Давай твои стихи, которые здесь не печатают. Я их опубликую в хорошем издании. Неподцензурном. О тебе тут Битов говорил. Там все наши — Аксёнов, Битов, Ерофеев...

Я и отдала ему подборку «непечатных».

А через весьма малое время моя подруга Л., поэтесса, рассказывает:

— Ох, вчера так напились в ЦДЛ, что решили продолжить у меня (она жила неподалеку — в Гнезниковском переулке. — *О.Н.*) N с нами. Потом, когда все ушли, оказалось, что у меня пропала бутылка шикарного французского шампуня, я еще его даже не открывала. Ты знаешь, тут про N поговаривают, что он запросто тырит чужие книги. И еще, что он берет чужие стихи, потом едет в провинцию и там печатает под своей фамилией... Поэтому я на него грешу.

И вот это была такая чушь, такая небывальщина: N-то и самого тогда не печатали, а он что — чужие стихи, которые не прошли через цензуру, сможет опубликовать? Под своей фамилией? Зачем? А я, хотя и взрослая была уже девушка — 23 года, искусилась: подумала, надо же, еще опубликует мои стихи под своим именем, поди потом доказывай, что это все — мое! И решила у N свои стихи забрать. А его и нет нигде — проходит месяц, проходит другой, а N в ЦДЛ и след простыл. То встречала его там едва ли каждый день, а тут пропал. Встретила Битова:

— Андрей Георгиевич (тогда — так!), помогите мне, пожалуйста, найти N, а то он взялся мои стихи где-то напечатать, вас упоминал, какое-то неподцензурное издание, а я раздумала, хочу их вернуть. Да у меня и книжка вот-вот выйдет в «Советском писателе» (вышла через два года). Вы не знаете, где N? Вы не могли бы ему сказать, что я не хочу публиковаться у него.

Битов посмотрел на меня, что-то соображая, и сказал:

— Напрасно. А мы уже читали ваши стихи, и они нам нравятся. Но раз вы против, то конечно...

Оказалось потом, что речь шла о «Метрополе».

Такая вот нелепая история...

В Астраханском переулке

В 1977 году мы с мужем переехали в квартиру в писательском доме в Астраханском переулке, которую — на всю семью — получил мой отец, и оказались ближайшими соседями детского писателя, можно даже сказать, классика детской литературы Геннадия Снегирёва. Его жена Татьяна стала нашей — моей и моего мужа — крестной матерью, и дружба наша была крепче смерти. Виделись мы с ними каждый день, а порой и по нескольку раз, и имя Битова очень часто звучало в этом доме. Еще бы — ведь Генка был прообразом его Зябликова из «Улетающего Монахова», а Татьяна — той самой Натальи, которая «танцевала с шалью» и которой автор-герой был не на шутку увлечен.

У Битова действие повести перенесено в Ташкент, но на самом деле все происходило в Москве в квартире Снегирёвых на День Татьяны, Танины именины. Но там была не «шкура яка», как в повести, а настоящая медвежья шкура, на которой Снегирёв любил возлежать, поражая всех, кто впервые попадал к нему в дом.

Далее про Зябликова, точно списанного с детского писателя Снегирёва:

«Зябликов и впрямь оказался весьма забавным человеком. Монахов (альтер-эго автора. — *О.Н.*) таких не встречал. Он был великий путешественник. Он проплыл сибирские реки от истоков до океана, перешел пустыни и тайгу, и все это, кажется, была правда. Он мог прожить полгода один в обществе комаров и сосновых иголок и тогда не пил не только потому, что нечего, но потому, что незачем. Остальную жизнь, включая себя, он знал, кажется, не хуже, чем лес, и презирал, по-видимому, настолько глубоко, что оставался спокоен и снисходителен. Глупость, конечно, его раздражала... В общем, он сильно нравился Монахову, и Монахов старался ему понравиться и проявить ум, постоянно поскальзываясь на своих неточностях. Но это уже не Зябликов прикалывал его неудачные слова взглядом, а сам Монахов в ту же секунду ловил себя на них, выправляя и выкручивая — вот благо соседства с умным человеком! Короче, они выпивали».

— Гена — гений, — впоследствии говорил мне Битов о Снегирёве. — Чтобы быть гением, надо быть полным шизоидом.

Это так он перефразировал самого Снегирёва: «Чтобы казаться в этой стране сумасшедшим, надо иметь железную психику и крепкие нервы».

— Битов, конечно, обалдел, когда к нам попал, он не понимал, как можно так жить, как мы тогда жили в однокомнатной квартире на Малой Грузинской: спали на медвежьей шкуре, — вспоминала Татьяна. — А Битов поначалу был весь такой — в светском напряге. Но Генька (это она так называла Снегирёва) быстро с него этот напряг снял.

Ну да! Снова узнаю Снегирёва:

«Зябликов склонялся доверительно, дышал в ухо:

— Наколка есть, понимаешь?

Монахов согласно кивал, не понимая. Он принимал «наколку» с той же готовностью, с какой заглатывал «раску» — самое плохое вино, которого на его пять рублей Зябликов сумел купить прямо-таки невероятное количество. «Дело-то совершенно чистое», — шептал Зябликов. Он знал, где лежит клад. Ему нужен лишь напарник. Напарника найти не просто... Получается, что именно Монахов и нужен.

— Единственное, что мне не нравится в тебе... — Монахов насторожился, почему-то тотчас готовый к обиде. — Так это твой трудовой напряг...

А тут сразу — миллион.

Ну что же, Монахов, пожалуй, согласен.

— По рукам!

— Слушай сюда, — Зябликов покачнулся сидя. — Еще наковка есть...

— Да не слушай ты его! — рассмеялась Наташа. — Что, курган зовет копать?»

Да! И нас звал — и курган копать, и мухоморы жрать, по примеру древних викингов, собирающихся в Крестовый поход ко Гробу Господню, и учиться лекарскому искусству у бурятского мага!

А вот это уже про Монахова, который так похож на Битова, на его тягучие мысли, которые он мог произнести и вслух:

«Монахов сурово придвинул к себе бутылку, выпил полный стакан в решительном одиночестве и сделался демонстративно мрачен. "Господи! Что же это? Умер я, что ли? Что ж это я не люблю никого. Ни ее, ни жену. И себя не люблю, да ведь и маму тоже!.. — Он подумал это словами и впрямь ужаснулся. А ведь любил, как любил..." — догадался он и зажмурился — так внезапно подступило все из глубины его стертых лет, будто и всегда было рядом, будто вчера, не в последовательности, не в протяженности, а сразу, вместе, на одном холсте, будто времени не существовало, а все происходило сразу: и сегодня, и вчера, и завтра — в одном пространстве».

Не забыл он здесь и Татьяну, которую нарек Натальей, празднующей свой день рождения. Даже красную ее юбку перенес в текст, даже краски ее лица, красоту ее простоты и естественности:

«Ему нравилось в Наталье все, и ничто не противоречило, все было в самый раз: и монгольская тяжесть в лице, и неуклюжесть... Он представил себе, что сказали бы о ней бесспорные красавицы его жизни, с оценками которых (главным образом, себя самих) он так неукоснительно считался, что и не подумал хоть раз посчитаться с собственным, так и не развившимся вкусом... он легко это себе представил: и гримасу, и яд женской критики, миллиграмма которого хватало ему на убийство того, что ему нравилось... Монахов пытался разгадать, объяснить себе ее привлекательность, но вот она-то и была столь бесспорна для него, что объяснить не удавалось. Чем старательнее он размышлял ее черты, тем более непонятным оставалось целое: ни одной правильной, ни одной красивой черты не находил он, разве кожа... Да, ничего особенного — соединено уникально... Все это... было само в себе, так просто, естественно и убедительно, что — именно так и правильно... И, провожая ее взглядом, Монахов ощутил тоскливый укол: ему предстояла жизнь, давно лишенная цвета. Последняя, быть может, краска испарялась сейчас на полотне».

Очень точное описание. И правда: именно так — в единственно правильном порядке были составлены в ее лице на длинной шее черты, глаза, скулы. Вся — естественная, всегда без косметики, без парикмахерских заморочек, но яркая, красивая какой-то основательной, «не богемной» и «не киношной» красотой: просто — идеальная Родина-мать! «Зоя Космодемьянская» — говорила о себе сама Татьяна, имея в виду непререкаемую положительность своего образа.

Жить поблизости

Даже не помню, когда как-то незаметно мы перешли на «ты».

Может быть, тогда, когда Битов приезжал к Снегирёвым, и Гена вводил его в гипноидную фазу, посылая на поиски его сбежавшего за границу брата — журналиста

Олега Битова, и Андрей, пребывая «в астрале», отыскал его в Венеции? Между прочим, Битов из-за брата-перебежчика пострадал — его перестали печатать. Или — мы перешли на «ты» в Небылом, когда разгуливали по лесам-полям и вели ночные беседы, и это как-то само собой разумелось и потому не запомнилось?

Был какой-то период, когда мы с ним хотели купить два дома в глуши, но по соседству. Потом и вовсе — один дом на двоих, но чтобы большой. Чтобы и я с мужем и детьми могла там разместиться, и он — один или с женой (там по-разному бывало, в зависимости от его семейного положения). Началось с того, что мы случайно встретились с ним на Ленинградском вокзале у касс.

Мы с друзьями ехали неведомо куда на рыбалку, в какой-то чужой незнакомый дом, от которого нам дали ключи, где-то на водохранилище за Удомлей. Туда надо было добираться на перекладных: до Бологого, потом — с пересадкой — на каком-то допотопном поезде, а далее уже на попутке или автобусе, который ходил раз в сутки. Купили билеты, а тут — ба, Битов!

— Поехали с нами!

У него аж глаза заблестели. Он даже придвинулся к нам на шаг. Но потом вдрут потух:

— Мне завтра машину из ремонта забирать...

— А если она там подождет?

— Не подождет, — увы! А что у вас там — дом?

— Нет, но мы, может быть, купим.

— Тогда и для меня присмотрите, рядом где-нибудь. Поспрашивайте, возьмите адрес, к кому обратиться.

Проводил нас на поезд, руку мне пожал на прощание:

— Буду ждать вестей.

Сказал, как заговорщик:

— Прочитал твое письмо, прелестное! Нашел в дупле.

А я уже и забыла... Просто узнала, что он тайком от жены получает на Центральном Телеграфе письма от любовницы «до востребования» и решила схулиганить: послала ему стихотворение, которое сочинила буквально «на коленке» как бы в продолжение нашего неоконченного разговора, но получилось очень лихо и смешно. Положила в конверт и отправила вот так же — «до востребования». И, оказывается, он его получил, а потом в «Преподавателе симметрии» упомянул о некоем письме, оставленном «в дупле» без всякой гарантии его получения.

...Добрались мы туда едва ли не к вечеру следующего дня. Оказалось, что это глушь так глушь: даже электричества нет, а местных раз-два и обчелся. Зато водохранилище потрясающее, рыбы там видимо-невидимо: мы плавали ночью на лодке, светили фонарем в темную воду, а наш друг Лёва Казаков (бывший сельский житель и прекрасный писатель) бил ее багром, а потом коптил возле русской печки.

Нашла я там какого-то местного мужичка и спросила, не продает ли кто дом.

— Петрович продает, — уверенно сказал он. — Но он в Волочке живет, сюда редко приезжает. А дом его — вон там.

Я посмотрела: хороший, крепкий дом. А нам покупать его, честно говоря, — денег нет, да и как с малыми детьми без электричества? Зато Битову, ищущему приключения и сюжеты, быть может, в самый раз. Дай, думаю, возьму адресок хозяина для него. А мы можем в гости приезжать вот в эту избу, где сейчас ночуем.

Взяла адрес, позвонила Битову, он обрадовался:

— Как раз еду в Ленинград, так мне Волочёк по дороге. Зайду.

Звонит недели через две:

— Какая-то мистическая история. Приезжаю в Волочёк, иду по адресу, который ты мне дала, поднимаюсь по деревянной лестнице на второй этаж, а навстречу мне — какой-то большой мужик, еле-еле с ним на лестнице разминулись. Звоню в дверь. Хозяин мне открывает, рассказываю, зачем пришел: хочу купить у вас избу на водохранилище.

А он мне:

— Что случилось? Вот так-так! То три года не мог ее продать, то покупатель так и попер. Я только что его продал. Видел — мужик от меня вышел?..

Потом мы уже искали дом в живописных лесных окрестностях Печор. Нашла один такой — просторный, двухэтажный — в глуши, на хуторе, на холме над прудком, а вдали — высокий еловый лес. Красота несказанная! Но хозяина не найти. Нашла другой, но — дорого, денег нет даже на половину.

А потом уж Битову дали дачу в Переделкине, где тогда жили мои родители, а мы с мужем обосновались подле них в сторожке. И стали мы с Битовым ближайшими соседями, как того и желали.

Я в этот период учила древнегреческий и ездила на велосипеде на соседнюю улицу к моей преподавательнице Наталье Петровне, жене Сергея Аверинцева, и Битов, встречая меня по дороге к ней, говорил:

— Лев Толстой ты наш!

Толстой ведь тоже на старости лет увлекся изучением древнего языка.

Мне казалось, что Андрею — так, теоретически, тоже бы хотелось...

Но дом в Печорах я все-таки купила потом. И делилась своими скудными познаниями в древнегреческом (в пределах евангельского текста и Божественной Литургии) с монахами-иконописцами Псково-Печерского монастыря. А больше ни для чего мне этот прекрасный язык не пригодился.

Ольга Алексеевна

Еще до этого переделкинского периода Битов пришел к нам и попросил отвезти его с матерью к отцу Зинову, который тогда восстанавливал Даниловский монастырь, что мой муж и исполнил. Ольга Алексеевна — (Царство ей Небесное!) — светлая и утонченная женщина, дворянка, красавица, была крещена в детстве, но потом много лет провела вне Церкви, а теперь была рада, что ее сыночек водит такие знакомства: отцом Зином она была очарована. И все трое — отец-иконописец, Битов и мой муж — продолжили свой разговор, начатый еще в Небылом. А меня там не было: старшие дети пошли в школу, и я целый день то водила их туда, то забирала оттуда, передвигаясь вместе с младенцем Настей в коляске.

Младенец Настя очень любила Битова. Однажды, когда он пришел к нам, она спала в соседней комнате в обычной детской кроватке, окруженной прутьями. И вот она впервые оттуда самостоятельно выбралась и, не умея ходить, приползла к нам, еще сонная, розовая, в золотых кудрях. Увидела Битова и вдруг начала покатываться от смеха. И он засмеялся в ответ. А она — еще звонче, а он — еще громче. Тогда и мы засмеялись. И ничего-то смешного не было, а просто это был смех радости. Такое бывает между близкими людьми.

Почему-то некоторые пишут в своих воспоминаниях о Битове, что он «не смеялся» или «редко смеялся». А я помню, что мы с ним нередко смеялись от души

и даже хохотали. Смеялись и тогда, когда он пришел к нам на дачу в Переделкино, а Настя была уже пятнадцатилетним подростком, и они стали меряться ростом. И каждый старался поджухать, показать себя выше, чем он есть. Вставали на цыпочки незаметно, а когда прислонялись затылок к затылку, еще и ладонью прибавляли себе росту. И мы тоже тогда просто покатывались от смеха.

Итак, когда мы стали с Битовым жить рядом, он перевез Ольгу Алексеевну к себе на дачу, где она разболелась и слегла, и он решил позвать священника, чтобы тот ее поисповедовал и причастил. Муж мой еще не был иереем, отец Зинон пребывал уже далеко — в Псково-Печерском монастыре, но между этими «еще не» и «уже» у нас в нашем Патриаршем Подворье в Переделкино, в храме Преображения Господня, служили иеромонахи из Лавры, весьма дружелюбные и отзывчивые. Я и позвала отца Агафангела с золотыми выющимися волосами, которого бабки в храме называли не иначе как «отец Ангел». Он согласился, но попросил, чтобы мы отвезли его потом туда, где он обещал быть в скором времени, чтобы освятить дом. Поэтому после того, как он поисповедовал и причастил Ольгу Алексеевну, мы с ним и с Битовым сели в машину и покатались куда-то за Одинцово.

Там отец Агафангел дал нам поручение: пока он будет переходить из комнаты в комнату, рисуя на стенах по четырем сторонам света кресты и освящая их, следовать за ним и подпевать «Господи помилуй» и «Аминь». И мы согласно и послушно: Битов — своим великолепным баском, я — чуть подхрипшим сопрано — вторили ему. И нет ничего, что бы так душевно сближало людей, как совместное молитвенное пение.

Он так и надписывал нам свои книжки: «Дорогому брату и сестричке».

«В бегство да обратится все лукавое бесовское действо», — возглашал отец Агафангел.

А мы с Битовым дружно тянули свое: «Аминь».

Плавание

А потом мы отправились с ним в далекое и счастливое плаванье...

Незадолго до этого отгремел расстрел Белого Дома, а редакцию и авторов «Нового мира» пригласили отправиться в трехнедельное путешествие к далеким берегам по маршруту Москва — Одесса — Афины — Александрия — Хайфа — Константинополь — Одесса — Москва, сначала на поезде, а потом на пароходе «Тарас Шевченко». К тому же и бесплатно. Надо было лишь обменять рубли на какие-то жетоны, чтобы расплачиваться ими в баре на корабле, если вдруг захочется посидеть и выпить кофе, вина или коньяка. А так — нас еще и кормили три раза в день за счет благотворителя.

В группу были включены, естественно, Сергей Залыгин, главный редактор, его секретарша — очень милая женщина Валентина Николаевна, Олег Чухонцев, тогда заведующий отделом поэзии, Ирина Роднянская, заведующая отделом критики, а также постоянные авторы: Виктор Астафьев, Андрей Битов, Владимир Маканин, Булат Окуджава, Виктор Розов, Михаил Кураев, Игорь Шкляревский, Александр Архангельский и аз, грешный, по тем временам еще «молодой поэт», но «постоянный автор» «Нового мира»: все-таки впервые там напечатали мои стихи, когда мне было девятнадцать лет. Кто-то еще был, да я позабыла — все-таки более четверти века прошло... Оказалось, что кроме нас на корабле поплывут известные музыканты,

актеры, преподаватели Иерусалимского университета и еще какие-то деятели науки и искусства.

Холодным ноябрьским деньком мы сели на поезд и отправились в Одессу. Так начался праздник. Ночью не всем удалось уснуть, поскольку кое-кто из наших так храпел, «словно терзал с урчаньем какого-то зверя», по словам Окуджавы, который простоял всю ночь то в коридоре, то в тамбуре, куда все то и дело выходили покурить. А уж в холодном «накопителе» Одесского порта, когда прошли таможеню и в duty free обзавелись запасами вина и коньяка, началось такое веселье с преждевременным распитием купленного впрок, такой кураж, что на пароход попали уже изрядно пьяные и счастливые.

Меня поселили в каюту с Ириной Бенционовной и Валентиной Ивановной — они обе на нижних полках, а я — на верхней, на которую, вдруг ворвавшись к нам, залез Архангельский, и обе дамы долго упрашивали его не мять мое девичье ложе, пока я сидела в каюте Чухонцева и Битова, где скрывалась от Виктора Астафьева, поскольку он норовил всем и каждому рассказать, как видел меня на горшке, когда приходил в гости к моим родителям в незапамятном далеком году.

Впрочем, всем было весело, всем хотелось куража, фантазировали, что было бы, если бы нас отправили в такое плаванье на год с условием написать по книге, и Ирина Бенционовна не раз говорила, уже когда мы возвращались домой: «Неужели никто потом так и не напишет о нашем путешествии? А ведь как было бы интересно почитать... Тут такие характеры собрались!»

Битов — и благодушен, и язvitелен одновременно — всем придумывал под большим секретом клички, например, одному из наших спутников — «Замаскировавшийся амбал», что было очень смешно и точно, а другому — «Маленькая собачка», подразумевалось «которая навсегда останется щенком». Маканин же ему навязчиво напоминал собой — из-за усов, наверное, — Горького. Впрочем, злоречие отнюдь не отравляло, а забавляло. Он и о себе говорил словами журналиста Андрея Караулова, который одно время заведовал отделом литературы в «Огоньке» и обращался к Битову так:

— Ну что, классик, все маразмизируешь?

Потом нас повели в корабельный ресторан, где мы уселись за один столик вчетвером — Битов, Окуджава, Ирина Роднянская и я — и подолгу сживали после трапезы, не желая прервать разговор.

Кажется, во время таких посиделок Булат Шалвович спросил, обращаясь ко мне:

— Ты не знаешь, почему происходит такое: какой-нибудь человек, очень милый и интеллигентный, говорит мне: «Я так люблю ваше "Моцарт на старенькой скрипке играет" или "Молитву Франсуа Вийона", а я смотрю на него и начинаю тихо ненавидеть за это. Может быть, потому что он тем самым дает мне понять, что после «Моцарта» и «Вийона» я ничего стоящего не написал?

Увы! — такие вот поклонники не раз подходили к нему на пароходе и признавались в любви к его «Синему троллейбусу» или «Ах, Арбат мой, Арбат»...

— А меня бьют «Пушкинским домом», — признался Битов, — словно я после него ничем не отличился.

Булат Шалвович, и правда, почти и не писал в ту пору стихи, зато с большим увлечением и уважением говорил о своей прозе: «Я пишу историческую прозу!» Вот и тут ему захотелось хотя бы о ней упомянуть. Он рассказал забавную историю, как его

за какие-то автомобильные грешки остановил гаишник, но сразу узнал в лицо, расплылся в улыбке и попросил автограф. Но Булат Шалвович сказал:

— Что такое автограф? Давайте я вам свою книгу подарю и распишусь в ней?

Гаишник радостно закивал.

Окуджава достал «Похождения Шипова», надписал и протянул милиционеру со словами:

— Вам будет интересно, тут о Льве Толстом!

— А-а, — вдруг разочарованно протянул тот. — Нет, не надо: про Толстого я и так уже все знаю!

...Проплывали Босфор и Дарданеллы, сидя в баре и с молчаливой торжественностью глядя в окно: совершалось то, о чем мы совсем недавно даже не смели мечтать. Наконец прибыли на первую стоянку в Пиреях, сошли на берег и прогулялись мимо выставленных перед магазинами и лавочками вешалками с одеждой и полками с сувенирами. На одной из них были крючки с вязаными шапками, и Битов взял одну из них — серенькую — и надел.

— Ну как тебе? На кого я похож?

— На дедушку, — засмеялась я.

С тех пор он так и стал себя называть:

— А дедушка тебе яблочко принес!

Или:

— А ты скажи Чухонцеву, что один противный старикашка занял ему место в автобусе.

Он говорил, что, по его интуиции, тот человек доживет до глубокой старости, которого ты можешь себе представить дряхлым стариком. И спрашивал:

— А меня ты представляешь таким?

Но у меня и без его вопроса вдруг возник перед глазами совсем старенький Битов с редкими белыми волосами и слезящимися глазами: он сидел в глубоком кресле, с ногами, укрытыми пледом, и силился из него подняться...

— Ты долго проживешь! — уверенно ответила я.

В Афинах, куда привезли на автобусе, нас отпустили погулять, и мы с Битовым нашли какое-то скрытое от людских глаз кафе и расположились на веранде. Выбрали мы его, потому что «больно на Тбилиси похоже» — тоже видна была поросшая лесом гора, близкое синее небо, разнеживающее солнышко и запах, запах! Пахло любимой Грузией! Официант принес нам по бокалу красного вина, и Битов с ним разговорился. Тот сказал, что приехал в Афины с острова Тасос.

— Пафос? — уточнил Андрей.

— Патмос? — переспросила я.

— Нет, Тасос. Совсем небольшой остров, тринадцать тысяч жителей.

— О! — Битов заинтересовался. — А не махнуть ли нам туда? Не хочешь ли на Тасос?

Официант словно понял, о чем он говорит, и живо включился в разговор, уверяя, что там можно дешево снять домик под соснами на самом берегу Эгейского моря. Кажется, он воспринял все всерьез.

— Там есть и святилище Афины, — добавил он, словно это сразу повышало рейтинг его острова и давало ему дополнительный бонус.

— Э, нет, тогда нам это точно не подходит, — сказала я.

Только мы подняли бокалы с вином, как вдруг — откуда ни возьмись, появился Маканин, который та-ак многозначительно и как бы всепонимающе на нас посмотрел, усмехнулся в усы, сам же смутился, отвел глаза и быстро зашагал прочь.

Это было столь выразительно, столь красноречиво, что мы рассмеялись.

— Ну, все, попались! Решил, что у нас роман. Удалился, чтобы не смущать, не мешать, деликатный, — сказал Андрей.

— А романа-то у нас и нет!

— У нас мистический роман, мы вставлены в единый текст. Никогда сами не договариваемся о встрече — и встречаемся, когда это нужно Автору, — пояснил он.

И тут вдруг — облачко к облачку, тучка к тучке, ветерок к ветерку — небо потемнело, и началась гроза. Гроза? В ноябре? Да, в Греции же, как известно, всякое бывает, все есть.

Мы укрылись в кафе и через открытую дверь любовались ливнем, сквозь который, впрочем, снова засияло солнце и отогнало его прочь.

Ангел Времени

Это и правда было какое-то смутное время. Словно Ангел Времени на небе сменился, и пришел другой. Он пока что приглядывался к миру, менял вещи местами, перетасовывал людей, переставлял события. Было какое-то напряженное ожидание и недоумение, куда все пойдет, чего хочет от нас Господь. Порой было муторно, неуютно, сумрачно, бессловесно.

Вот и Андрей тогда сказал про прохождение пространства, прожитого, но не проговоренного, не покрытого словом: «Слишком далеко по нему зашли, и поэтому непонятно, куда попали».

Однако внезапно эти потемки озарялись неожиданными яркими вспышками света, перемежались передышками, поражали непредсказуемостью: например, это плавание. Что это было для нас, выросших на «Плаванье» Бодлера?

Для отрока, в ночи глядящего эстампы,
За каждой далью — даль, за каждым валом — вал...

Как выяснилось еще на корабле, его организовал и оплатил не кто иной как Мун, глава известной секты. У бедной Ирины Бенционовны, как только она узнала об этом, было такое лицо, словно она вот сейчас кинется в море и доплывет до берега, лишь бы не оставаться на этом сектантском корабле!

И вообще — путешествия! Незадолго до этого мы с Битовым выступали на радио — то ли это была «Свобода», то ли «Би-би-си», и, пока я везла его на машине домой, выяснилось, что мы в один и тот же день летим в Париж: у меня там вышел в издательстве «Галлимар» роман, у него тоже были какие-то издательские дела. Все это было неожиданно и чудесно, если учесть, что при советской власти мы и мечтать не могли о том, чтобы попасть в дальние страны. Я часто видела Францию во сне, понимая, что сон этот — несбыточный!

Впрочем, в Париже нас ожидало полнейшее несовпадение: Андрей звонил Марье Васильевне Розановой, у которой мы с мужем остановились, а нас как раз не было дома. Мы перезванивали по телефону, который оставил Битов, а он «пять минут как вышел» или «еще не вернулся», мобильных же телефонов у нас тогда не было. Просто

получилось так — «не суждено». Он, кстати, любил это «не суждено» или «не судьба». Или, наоборот: «судьба»!

Сейчас, пройдя этот период непонимания насквозь, я вижу, что меня лично и мою семью эти волны времени несли на твердую землю: вскоре мой муж стал священником, и путь стал понятен в своей определенности. Но тогда, в начале девяностых, движение жизни казалось хаотическим, а смысл его — неуловимым... Все было сорвано со своих корней, и мы с Битовым часто говорили о действиях Промысла, о способах его истолкования. Он считал, что для уяснения этого предпочтительно оставаться пассивным и лишь откликаться на предложения и приглашения со стороны. Я ему возражала, что именно такие приглашения могут быть искусственными, ибо неизвестно, какой дух тебя заманивает и втягивает в свои истории или, напротив, воздвигает препятствия. Соблазн ведь тоже предлагает себя, выставляет с лучшей стороны, вызывает, прельщает или, напротив, — отталкивает от должного и уводит на сторону далече.

...Мы гуляли в афинском парке, где расхаживали косули, в пруду плавали утки, и летали прекрасные птицы.

— Мы в раю, — сказал Битов и добавил, свернув на литературную тему. — Я хочу написать роман, который так бы и назывался: «Мой отец в Раю».

Почему-то высматривали льва и какую-то черную рыбку, которая никогда не умирает. Но что это за лев и что это за рыбка, я не могу вспомнить, поскольку добыла их из моего дневника, который вела на корабле вперемешку с набросками к новому роману (судя по всему, к «Мене, текел, фарес»). Уселись на скамейку и просто молчали. Если зажмуриться и «отложить житейские попечения», можно и сейчас оказаться в том месте и в той точке времени, реально ощущая это благоуханное спокойствие и умиротворение. А потом отправились в старые Афины в поисках камилавки и хорошего ладана для отца Зинова: он просил меня привезти из Греции и то, и другое. Битов охотно подключился и внес свои двадцать долларов на подарок для аввы.

Проходили мимо ареопага, с которого святой Апостол Павел «уловил» свою единственную «рыбку» в богатых и пресыщенных Афинах. Но эта рыбка стоила множества выскользнувших и утекших сквозь пальцы рыб. Говорили о «нищете духовной». Ведь, как писал протопоп Аввакум, Дионисий Ареопагит до проповеди Апостола «хитрость имел сосчитать беги небесные», но, обратившись ко Христу, вменил это ни во что, предпочитая духовную нищету.

Мы с Битовым тоже на корабле следили эти «небесные беги»: видели Южный Крест, а вокруг — россыпи звезд. Но «исчитати беги небесные любят погибающие, не принявшие истинной любви, и за это пошлет им Бог действие лести ("действие лъсти"), дабы поверили они лжи», как-то так... Там даже «действие лъсти» сродни чародейству или лицедейству...

А потом нас посадили в автобус и повезли на меховую фабрику, где писатели затеяли суету и просили меня мерить шубы, выбирая их для своих избранниц. Для жены поэта Z я перемерила штук пять, наконец, мы выбрали серую из соболя и отправились на корабль, чтобы плыть дальше — в Александрию. Расселись по своим местам ужинать, и тут прибежал взволнованный и разгневанный Z и стал кричать, что сзади на шубе он разглядел некий знак, вроде буквы «Т», как специально выделенный мехом более темного оттенка, и что шубу эту надо срочно обменять. Рвался с корабля на берег, обвинял всех подряд, что «не досмотрели». Особенно осуждал меня — ту,

которая мерила и должна была разглядеть себя со спины. Я растерялась, но все же сказала ему:

— Мой приятель пожаловался мне, что у него кончился шампунь, а он так хотел вымыть голову! А я посоветовала ему в таком случае вымыть голову яйцом. На что он ответил невозмутимо и по-своему резонно: «Ну, я же не акробат!»

Мне кажется, Z так и не понял, при чем тут этот акробат. У него был настоящий стресс, и в каюту к нему понабился народ: шубу рассматривали, подносили к глазам, отодвигались. Мнения разделились: одни говорили, что это обман зрения, и никакого знака на спине нет, другие, особо злобные, подтверждали, а сугубые насмешники даже уверяли, что это — масонский символ. Советовали шубу на этом месте выстричь или покрасить краской для волос. Все тайно и явно потешались над поэтом, и один лишь Битов его успокоил, уверив, что такое бывает на исключительно высококачественном мехе и лишь подчеркивает его добротность.

Коль скоро эта история уже вышла за пределы нашего писательского сообщества и стала достоянием музыкантов и актеров, Z предпочел поверить на слово и стал высказываться вполне благодушно, а меня так даже поблагодарил за хороший выбор для его жены. И только Михаил Кураев оставался мрачен: ему предстояло как соседу Z по каюте провести с ним ночь в бесконечных разговорах. Наутро Миша пересказывал нам ночные истории Z, в том числе о лайке поэта, которая «загрызла трех человек»: она была полукровка и оказалась наполовину волком.

Была и еще одна история, не позволявшая забыть и раствориться душой в морских пространствах, блаженно покачиваясь на волнах. Я взяла с собой в путешествие кипятильник, жароустойчивую чашку и растворимый кофе, который мы пили со всеми желающими в нашей женской каюте. И вот я отправилась на берег, а Валентина Ивановна с Ириной Бенционовной решили немного взбодриться, включили кипятильник, вложили его в чашку с водой и почему-то ушли... Вода выкипела, чашка дала трещину и так прикипела к поверхности стола, что, когда ее отодрали, на столе остался прожженный круг. То есть произошла порча казенного корабельного имущества и, стало быть, кому-то надо было заплатить за ущерб. С одной стороны, владелицей виновников — кипятильника и чашки — была я, но у меня было крепкое алиби. С другой стороны — обе — Ирина Бенционовна и Валентина Ивановна хотели выпить кофе и включили кипятильник, обе же и покинули место преступления. Конечно, никому не хотелось платить, да и компенсировать стоимость испорченного стола, полагаю, было не просто разорительно, но и невозможно: даже если бы мы все, попавшие сюда от «Нового мира», сложили бы свои скудные валютные сбережения, все равно не смогли бы покрыть убытки. Обе дамы были в полнейшем шоке и очень интеллигентно выясняли между собой, чья именно рука втыкала кипятильник в розетку.

К концу плавания, правда, эта ситуация разрешилась самым счастливым образом. Писатели пригласили к себе на встречу капитана, обаяли его и в самых трогательных выражениях признались в порче имущества. И он со всем благородством простил нам причиненный ущерб, уверяя, что корабль и так после нашего путешествия будет отправлен на капитальный ремонт.

Словом, было о чем поговорить, особенно после учебной тревоги, по которой нас собрали на палубе, заставили надеть спасательные жилеты и распределили по шлюпкам.

В Александрии три богатыря — Битов, Чухонцев и Кураев — купили мусульманскую одежду, нарядились в нее, и вот так все трое появились на корабле и встали рядом.

Смотрелись они очень кинематографично и, по какой-то ассоциации, отдаленно напоминали знаменитых Труса, Балбеса и Бывалого из «Кавказской пленницы». Потом Битов отправился любезничать с Кларой Лучко («Все-таки актриса, женщина, надо оказать ей внимание»). А мы с Булатом Шалвовичем взяли повозку и отправились на Александрийский маяк, зашли там в музей, в котором были выставлены в качестве экспонатов дурно раскрашенные картонные рыбы (мы таких рисовали на уроках в четвертом классе), и посидели на набережной в кафе. К нам подбегали местные мальчишки, которые, выкидывая вперед палец, кричали нам: «Русские! Русские!» На что Окуджава сделал в ответ то же самое, то есть выставил вперед руку с указательным пальцем и закричал: «Египетские! Египетские!»

На обратном пути к пароходу возница завез, вопреки нашему желанию, в старую часть города, в какой-то ювелирный магазинчик, и сказал, что не повезет дальше, если мы что-нибудь не купим. Мы уже опаздывали на корабль, вот я и купила браслет с камнями («Это камни со дна Красного моря, по которым проходил Моисей, когда выводил свой народ из Египта», — пояснил мне продавец). А вечером в баре, когда все хохотали над нашими ряжеными «мусульманами» и обсуждали покупки, ко мне подсел мой оппонент Лёня Кацис: мы полемизировали по поводу его статьи об антисемитизме Розанова и Гачева. Статья была напечатана в газете «Сегодня», мой ответ Кацису под названием «Чекистская логика» там так и не опубликовали, впрочем, как и в «Московских новостях», и лишь отважная Марья Васильевна Розанова напечатала его в «Синтаксисе» да еще и вдогонку сказала Кацису несколько неллицеприятных слов.

Ссориться с Марьей Васильевной ему явно не хотелось, и теперь он намеревался «прояснить позиции» и найти некие общие точки. Начал с того, что принял критикувать движение внутри иудаизма «евреи за Христа», посмеивался над теми из них, которые задумали модернизировать иудаизм, отменить обрезание и допустить возможность вкушать «кошерную свинину».

— У вас ведь в православии тоже есть такие обновленцы? — спросил он. Я была поражена его осведомленностью, когда он сам начал рассказывать мне о них со знанием дела и комментировать вполне адекватно.

Этот разговор мы продолжили потом в Иерусалиме по дороге от автобуса туда, где должно было состояться выступление «Нового мира» перед читателями. Почему-то автобус высадил нас очень далеко от этого места, и драматург Розов, уже совсем старенький, сильно хромал из-за давнего ранения в ногу и потому рисковал сильно отстать и потеряться. Мы с Лёней, уверявшим меня, что прекрасно знает дорогу, старались держать драматурга в поле зрения. Однако уже начало быстро темнеть, буквально сразу «тьма покрыла Ершалаим», а мы увлеклись разговором, и, когда осмотрелись, выяснилось, что Розова перед нами нет, а сами мы потерялись. Короче говоря, мы проплутали до тех пор, пока вечер не закончился, все наши писатели выступили, и мы появились в зале одновременно с последним вопросом, прозвучавшим из публики: «Скажите, поэт в России — больше, чем поэт?»

Наше отсутствие на вечере было замечено, и Битов сказал мне иронично:

— А я уж думал, что ты иудаизм приняла!

И потом, видя нас с Кацисом в баре, он говорил с улыбкой: «Дедушка пришел увести тебя подальше от религиозного соблазна».

О том, как мы с ним были у Гроба Господня, шли по виа Долороса и преклоняли колени у Камня Помазания, я писать не буду... Это все равно что рассказать всему миру не только о своей, но и о чужой исповеди.

«Ожидание обезьян»

В это время как раз был напечатан в «Новом мире» роман Битова «Ожидание обезьян», и он дал мне номер, который я читала на корабле перед сном. Но и у меня вышел в «Знамени» «Кукс из рода серафимов», я тоже не без робости дала ему журнал, и эта вещь его зацепила, потому что он потом целый вечер и часть ночи, которую мы провели в корабельном ресторане, мне говорил, как можно было повернуть сюжет — так или этак. Но все у него сводилось к тому, что один из главных героев — иеромонах — должен пасть с искушающей его девицей. Или, напротив, сам уродец Кукс должен прельститься ею, несмотря на то, что она, по его словам, для него «недостаточно красива». Я отбивалась от таких вариантов, потому что эта маленькая повесть — об искушении, которое должно держать читателя в напряжении до последней точки, до катарсиса.

И потом, когда мы попали в музей в Каире и там нам показывали и фаюмские портреты, и старинные сосуды, и диковинные саркофаги, Битов очень заинтересовался рассказом экскурсовода о том, что самый большой саркофаг заказал себе карлик, который надеялся воскреснуть в обличье высокого мужчины, и именно поэтому ему необходим был именно такой саркофаг.

— Это прямо про твоего Кукса! — сказал он, имея в виду, что герой моей повести тоже страдал от своего уродства и прикладывал усилия, чтобы победить его и воскреснуть в новом прекрасном образе. — А египетский карлик знал, что саркофаг надо делать непременно на вырост.

И вдруг предложил:

— А напиши послесловие к моему роману!

Я и написала, вернувшись в Москву. Все это было замешано не только на битовских текстах, но и, в том числе, на темах наших многолетних разговоров. А это практически одно и то же.

Поэтому я писала не столько о романе, сколько о самом Андрее и его экзистенциальных проблемах, как я их понимала. Этот зеркальный лабиринт, единство, распадающееся на множественность, дурная бесконечность рефлексии. Христианский человек в плену фаустовского мышления.

Я — сказал Адам после грехопадения;
ты — сказал Каин Авелю;
он — сказал его потомок про другого потомка;
он — это я, — напомнил всем Христос.

Как птицы

Любопытно, что, вернувшись из плавания, я написала стихотворение, в котором вдруг появляется Грузия с ее холмами, на которых лежит ночная мгла... Это безусловно — оттуда, из тех садов в Афинах, по которым мы гуляли с Битовым.

Дорогой! Оказывается, мы живём, как птицы:
пролетая над океаном, ночуя в крипте,
то, что они не допели в Греции, допоят в Нищце,
догуляют в Константинополе, довершат в Египте.

Текст и подтекст

О студенте же спорили пылко, даже с каким-то ожесточением, потому что для Андрея студент, который замерз во время охоты на вальдшнепов в Страстную Пятницу и подошел погреться к огню, как некогда Пётр во дворе первосвященника, выражал все ту же, давнюю битовскую мысль: «Он — это я». А для меня тут ключевым было именно то, что студент семинарии оказался здесь в этот самый скорбный для христианина день и словно повторил отречение Петра.

Никогда не забуду, как мы встретились с ним на отпевании известного врача в храме Боткинской больницы, и мой муж был одним из священников, участвовавших в этом прощальном обряде, а потом Битов попросил завезти его домой. Мы поднялись в квартиру «на минуточку», застряли там на несколько часов и ожесточенно принялись спорить о Чехове и его «Студенте».

— Ты не понимаешь, этот рассказ с восторгом цитируют православные читатели, желая увидеть в Чехове «своего». Однако они не на того напали. И ты попался на эту удочку! — возбужденно говорила я. — Чехов пишет отнюдь не заметку для миссионерской газеты. Весь контекст его творчества кричит о том, что здесь есть законспирированная, типично чеховская подкладка. Первый вопрос: каким это образом в Страстную Пятницу, вечером, когда совершается одна из самых главных церковных служб — чин Погребения Плащаницы, — студент Духовной академии и сын дьячка оказывается в полях возле костров? Почему он не на богослужении? Откуда он идет? А идет он, оказывается, с охоты, где он слушал дроздов и стрелял вальдшнепов, и покончил с этим, лишь когда стемнело и подул ледяной ветер. Итак, усталый, замерзший, но довольный, он направляется домой, и вот тут-то, по дороге, остановившись погреться у костра, он вспоминает, что когда-то и ученик Христа — апостол Пётр грелся вот так же у ночного огня. По этой ассоциации у него всплывает весь евангельский сюжет этого церковного дня. Возможно, с этим перекликается и его бессознательное чувство вины, которое объективируется теперь в рассказанной им истории неверного ученика, отрекшегося от Учителя.

— Нет, все не то, — с огорчением возражал Битов. — Он почувствовал то же, что испытывал Пётр в ночь отречения. Это очень христианский рассказ.

Я его не слушала, а все напирала:

— Да твой студент просто дистанцируется от бессознательного переживания собственного отречения, доводя его до порога сознания в форме литературного пересказа, при этом еще и миссионерски нагруженного, что вполне отвечает статусу рассказчика как студента Духовной академии и подобает сыну дьячка: возможно, это и облегчает то чувство бессознательной вины, в связи с которой он и помыслил о грехе Петра в такую же холодную ночь.

Так же дистанцированно он отмечает и внутреннее соучастие, и сострадание крестьянских женщин судьбе Христа и его ученика, вызванные его речью. Никаких чувств подобного же рода сам он при этом не испытывает, с удовлетворением наблюдая их проявление в своих слушательницах и воспринимая их как нечто от себя отдельное, как объект для собственного дискурса, рождающего в нем ощущение радости. Природу этой радости Чехов описывает в самом конце рассказа, дай-ка сюда книгу.

Я стала судорожно ее листать. Ну вот: «И чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья,

неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной, полной высокого смысла».

Это общее место у Чехова. Например, — тут я взяла другой том и почти сразу нашла нужное место: «И мы с тобою увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой...» Это, на всякий случай, находящаяся в отчаянном положении Соня — такому же неудачнику дяде Ване.

Очевидно, в чеховском контексте, это не духовная радость верующего о Господе, Сыне Бога Живаго, который — вот-вот придет Пасха — воскреснет из мертвых, «смертию смерть поправ», но радость естественная, религиозно нейтральная, радость юности — собственной полноценности и самодостаточности: предчувствия жизни, избытка сил, игры гормонов, весны, горячего костра, охоты, способности мыслить и говорить, готовности вот-вот «увидеть небо в алмазах».

Такие мистифицирующие приемы вообще свойственны Чехову, у которого всякое яблоко надкушено и всяк плод с червоточинкой.

И, наконец, я сформулировала эту очень простую мысль:

— У него подтекст противоречит тексту.

И подумала про себя: «Как у самого Битова!»

Но Битов, кажется, терпеть не мог всех этих «проекций», «гештальтов», «порогов сознания». Он верил «студенту» и даже как-то обиделся за него на меня.

Словом, мы почти поругались, и я после этого написала статью «Мучитель наш Чехов».

Божий Промysl

Пожалуй, главной темой Битова, как и его любимого Пушкина, была тема Промысла Божьего (судьбы, рока) в жизни человека: Промysl и свобода, их сочетание. Но у него было своеобразное отношение к Божьему Промыслу: он верил, что «послушная судьба ведет, а непокорных тащит», поэтому он старался быть послушным ей, будучи уверенным, что она посылает ему указующие и предупреждающие знаки. Он серьезно относился к приметам (тут Пушкинский заяц сыграл немаловажную роль, да и вообще — Пушкин, для которого тема Промысла, судьбы, рока была центральной); каждое утро «гадал», раскрывая наугад Священное Писание, особенно любил Псалтирь, удивлялся, когда у него «сходило»; мало того — в конце жизни он стал искать ключ к характерам людей в их именах, составляя из букв этих имен слова, которые, как ему казалось, раскрывали их тайну. Он словно искал то новое имя, которое в Царстве Божьем праведник («побеждающий») получит начертанным на белом камне. Помню, как после юбилея Фазиля Искандера в театре Вахтангова мы сидели с ним в фойе ресторана, где проходил банкет, и он нам с моим мужем раскрывал механизм своего нового открытия: «Фазиль: ил, лиф, зал, лаз, фиал».

Уважительно относился к магии чисел: было такое поверье — складывали дату, месяц и год рождения и что-то там отнимали, а в результате оставалось число, указывающее на характер человека. Был недолгий период, когда он увлекался астрологией, с интересом читал всякие популярные брошюрки о влиянии звезд на характер людей, родившихся под тем или иным знаком Зодиака. То есть изучал «беги небесные».

Мы с ним оба были — Близнецы, и это он воспринимал всерьез. Однако ужасно ревниво относился к тому, что я родилась в день рождения Пушкина — 6 июня. А ведь он сам претендовал на это, доказывая, что Пушкин-то родился 26-го мая, в один день с Битовым. «Да, — соглашалась с ним я, — но тогдашнее 26-е мая как раз и есть теперешнее 6-е июня!» Ох, он иногда обижался не на шутку, ревновал и злился, злился!

По этой же причине он был отзывчив на всякие приглашения и даже испытания, считая их провиденциальными. Но именно такая установка сознания помогла ему принять с мудростью и с великолепным мужеством перенести два страшнейших диагноза: пережить и трепанацию черепа, и рак горла, когда он в течение какого-то времени не мог говорить, а только хрипел в телефонную трубку. Я звонила ему, когда он лежал в больнице, и хотела его забрать к себе на дачу, но он отказался: за ним приехала дочь Аня из Питера и собиралась увезти его с собой.

— Так что я к тебе не поеду. Давай просто поговорим! Тут мой сын Андрей предлагает мне священника, чтобы меня причастить. Что ты об этом думаешь?

— Что могу думать — прекрасно!

И мы еще проговорили едва ли не полчаса. Я все ужасалась его болезни, а он был совершенно спокоен и настроен весьма философски.

С сыном Андреем он познакомил меня в середине 90-х, и оказалось, что мы с ним ходим в один храм — Московское Подворье Лавры, я сразу его узнала. Сам Битов признавался, что это — самый воспитанный и благополучный из его детей.

— Наверное, это потому, что он рос вдали от меня, — с грустной улыбкой добавлял он.

Итак, к своим ужасным болезням он относился стоически и совершенно спокойно потом говорил: «Ты же так меня своими речами до припадка доведешь, я же — припадочный, трепанированный. Вчера вон во время выступления со стула упал». Как об обычном бытовом событии сообщал он, что у него дотла сгорела дача под Питером. Бесстрашно и почти бестрепетно переносил те неприятности, которые посыпались на него и за участие в «Метрополе», и за бегство родного брата в Италию.

Человек-автор-герой

Но бывало и иное, когда он сам, вопреки собственным убеждениям о «покорности судьбе», по собственному произволу включался в какие-то события, поворачивал течение жизни, придумывал всякие новины, начинал новые причинно-следственные ряды. Расколотая и внутренне противоречивая воля, о которой писал еще Апостол Павел: «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю», побуждала его к непредсказуемым чувствам и поступкам.

Из-за своей рефлексии он был человек раздвоенный: с одной стороны, как верно заметил Снегирёв (его «Зябликов»), у него был «светский напярк», порой он выглядел очень высокомерным, холодным и даже надменным, понимал, как оказаться «в нужное время в нужном месте», с другой — вдруг становился очень простым и открытым, даже душевным и беззащитным. Мог в таком расположении духа запросто выпивать с каким-нибудь деревенским алкашом, разговаривать с первым встречным или с попутчиком в поезде, и его принимали «за своего».

Многие люди, вспоминая о нем, рассказывают, как они, будучи малознакомыми, вдруг попадали под обаяние битовского внезапного расположения, когда он запросто общался с ними, высказывал прикровенные мысли, делился своими писательскими размышлениями, и они расставались с ним, насыщенные его идеями и размягченные его симпатией. А едва ли не на следующий день, кинувшись к нему с распростертыми объятьями, вдруг осекались под его отчужденным взглядом. Как будто и не было этих возлияний, этих откровенностей.

Мог он внезапно ляпнуть что-то, крайне для себя не выгодное, или отчебучить нечто, шокируя всех.

Было с ним и такое.

История, рассказанная мне по свежим следам Сергеем Чуприниным. Приехали они с Битовым на книжную ярмарку в Прагу. И вдруг прибегают посольские работники с известием, что российский стенд собирается неожиданно посетить президент Чешской Республики Вацлав Клаус, который хотел бы побеседовать со знаменитым писателем и было бы хорошо, если бы тот подарил ему в ответ свою книгу с дарственной надписью. Этот сценарий сразу объясняют Битову, он не против. Побеседовали. Битов раскрывает книгу, выводит на титульном листе «Уважаемому...» и замирает в недоумении с ручкой наперевес.

— А как вас зовут, простите? — наконец спрашивает он.

— Клаус, — отвечает тот несколько оторопело.

— Да нет, — досадливо отмахивается Андрей Георгиевич. — Я спрашиваю, как ваша фамилия?

Чупринин рассказывал, что посольские работники едва не грохнулись в обморок от такого казуса, а то и куршлюза. Ну, а с другой стороны: а что? Наш классик, «певец Империи», русский писатель Битов, сын великой державы, должен поименно и пофамильно знать всех президентов многочисленных государств мира, что ли?

Было у него и качество, которое сразу в нем отметили проницательные читатели «Пушкинского дома» и в котором он сам открыто признавался, хотя люди, как правило, такое скрывают: он был завистлив. Причем он завидовал не только Пушкину (у него и Тютчев ему завидовал), Блоку, Пастернаку, но и в старости завидовал самому себе, молодому. Вернее так: он, автор, завидовал своему персонажу, который, по сути, был его альтер-эго.

Как-то раз, встретив меня в ПЕН-центре очень ревниво сказал:

— Тут Кушнер очень хвалил твою новую книжку. Как она называется?

— «Amor fati».

— Да-да, в таких словах о ней говорил! Я позавидовал.

— Так я тебе тоже подарю! И ты скажи.

— Ну, он же уже сказал...

А когда я пригласила его на церемонию вручения мне премии «Поэт», он неожиданно выдал: «Нет, я не пойду, а то вдруг я буду завидовать!» Он и сам очень хотел получить эту премию, именно эту, и очень осторожно подкрадывался ко мне с просьбой выдвинуть его. Я отшучивалась, отвечала уклончиво. Он в лоб спрашивал, как мне понравились его стихи, его книжка «Дерево». Кажется, он более всего теперь ревновал о своем поэтическом поприще.

Однако эта зависть происходила у него, как мне кажется, от жадности жизни — ему хотелось быть всем: Пушкиным, Пастернаком, поэтом, Поэтом, собой — молодым. И руки у него были такие — пальцы с приплюснутыми подушечками на

кончиках. Еще Таня Снегирёва, по-женски подмечая это, говорила: «Какие жадные у Битова руки — хотят все забрать и притянуть к себе!»

Зашел ко мне как-то раз, после того, как мы накануне «хорошо посидели» у Олега Чухонцева и Ирины Поволоцкой, голодный, съел сковородку котлет, выпил вина, и вдруг на пороге появился Юрий Кублановский с женой Наташей. Ну и стали немножко пировать. И тут Битов решился почитать нам стихи. Читал по памяти, язык у него уже немного заплетался, он забывал, мы с Кублановским ему очень сострадали и даже из лучших побуждений подсказывали рифму, если он на ней запинался. Но рифмы у него были по преимуществу неточные, ассонансные или корневые, такие «вознесенско-евтушенко-ахмадулинские», а мы с Кублановским в каком-то смысле «перфекционисты стиха», поэтому промахивались, не угадывали.

С ним можно было не только поговорить о метафизических проблемах, но и поболтать о сущей ерунде, посмеяться вдоволь. Он мог быть серьезным до занудства, а мог и юродствовать. Мог годами жить в необустроенном жилище, обставленном фанерной мебелью, но при этом оставался эстетом и, завидев изящную вещь, обращал на нее внимание. Порой, после полугодового (годового, двухгодового) расставания, он встречал меня так, как будто мы расстались полчаса назад, и начинал прерванный разговор с полужаза. А иногда глядел холодно, как чужак, и надо было заново завоевывать его внимание и расположение. Словно он находился в подводной лодке, которая, прежде чем всплыть, выставляет перископ, приглядываясь к тому, что на поверхности. С одной стороны, он очень ценил жизнь как путь, как непрерывность, с другой — напротив, вдруг опровергал это, представляя ее как собрание отдельных фрагментов, и надо еще потрудиться, чтобы сложить этот пазл.

Выступая на презентации моей книги «Православие и свобода», сказал там о человеческом и писательском пути: «Пройденный путь, облеченный в слово» — это то, что делает человека писателем. «Непроговоренные пространства», которые пересекает человек, позволяют подозревать, что он слишком далеко зашел и заблудился среди бездн бессловесности.

Но как это противоречило тому, что он незадолго до этого писал в «Ожидании обезьян»!

«Реальность не выносит быть описанной. Или она гибнет, или обретает полную независимость, или ее вообще не было? Так или иначе, описав что бы то ни было, можешь удовлетвориться одним лишь фактом законченности текста — сличить его будет не с чем: и прошлое куда-то провалилось, да и пространства не стало... Итак, все места, в которые я любил заточать себя с целью написания неких страниц, пали одной и той же смертью: однажды вошли в текст... Они так или иначе описаны... Но я для них умер».

Не путь познания и становления, а дух самоотчуждения и самоумерщвления. Фаустовский дух тут бился до конца с христианином.

Сам он называл себя постмодернистом, но, по моему мнению, он был «типичный» экзистенциалист. Как-то он мне говорил о сути своего писательского дела, о том, что Автор проигрывает, запечатлевая в своем творении, такой способ существования, который бросает вызов случайности, аморфности, конечности реальной человеческой жизни. Поэтому и его собственный герой, порой сливающийся с ним самим, а порой выступающий вдруг как трикстер, настолько был для него живым «ты», что он с ним порой и полемизировал, и тягался.

Был этот зазор между ним и автором его произведений, как и между автором и героем. И при этом все трое — были одним Битовым. Но они сосуществовали не «вплотную и впритык» друг к другу, но оставляли между собой люфт, позволяющий так или этак свободно поворачиваться разными сторонами друг к другу.

Я, — назвал своего героя Автор.
Ты, — обратился к Автору Битов.
Он, — огрызнулся на Битова герой.

Он говорил, и за точность слов я отвечаю:

— Пойми. Я не центрован, я растекаюсь, плыву по внешним впечатлениям. Если хочешь, от меня осталась только душа. А жизнь — прошла!

И еще он говорил: «Точность — не заслуга, неточность — грех», воспроизводя, может быть, сам того не ведая, мысль Чарльза Вильяма «Hell is inaccurate» («Ад — неточен»). И очень был доволен, когда я сказала ему, что по-гречески «грех» и «промах» — одно и то же слово, равно как и «согрешить» и «промахнуться».

...Ходил по пароходу «Тарас Шевченко» и твердил: «Жизнь прошла!» И он с некоторых пор вглядывался в нее, как бы поверх, скользя взглядом. И в то же время что-то рисовал в своем воображении о ней.

Жизнь «прошла», а герой остался. И Битов завидовал ему, молодому, себе бывшему.

Как-то раз сказал мне, что очень отчетливо представляет такую картину, напоминающую нечто тургеневское, из «Дворянского гнезда». То ли это был у него такой сон. Как он приезжает в монастырь, и в храме, когда он у подсвечника пробует зажечь свечу, мимо него проходит монахиня, «еле шурша рясой», в которой он узнает меня: «голова склонена, губы шепчут слова молитвы». Но я ни единым движением лица не выдаю, что заметила его: «сосредоточенно» и «серьезно» двигаюсь я туда, к алтарю и встаю на клиросе меж других монахинь, сливаясь с ними. И он уже «не может различить» меня среди них и чувствует, что «умиленно плачет».

Рассказывая это, он и правда тогда едва ли не прослезился...

Он вроде был и свободным, независимым, «беспартийным» человеком, общаясь и с диссидентами, и с либералами, но и с людьми русофильских взглядов — очень ценил и уважал до благоговения Олега Васильевича Волкова или, например, запросто выпивал с Анатолием Передревым, на что ему пеняли отдельные товарищи из партии «либералов». А с другой стороны — ему вовсе не безразлично было это «общественное мнение», «либеральные» иголки больно его кололи. Но удары были и с другой стороны, ведь он был многолетним Президентом Русского ПЕН-центра, на который в определенных литературных кругах смотрели с большим подозрением.

Про «масонов»

Это было году в 93-м или 94-м. У нас шло вялотекущее отчетное собрание ПЕН-центра в тускло освещаемом зале Дома журналиста. Кто-то, пригревшись после декабрьского мороза, тихонечко дремал, а Вадим Рабинович (поэт и ученый), сидевший возле меня, то и дело склонял голову мне на плечо и так громко храпел, что

заглушал голос оратора на сцене. Битов, который предложил вести собрание Саше Ткаченко, сам, сидя на сцене, тоже кемарил.

И вдруг! Дверь распахнулась, и взволнованный человек, литературный критик Валентин Оскоцкий, промчался сквозь зал и вскочил на сцену, потрясая газетой над головой. Несколько секунд он не мог отдышаться и только продолжал размахивать газетными листками.

— А знаете ли вы, — наконец произнес он потрясенно, — что нас записали в масоны!

Тут все пробудились, даже Вадим Рабинович встрепенулся и, хлопая сонными глазами, тревожно спросил:

— Как? Что?

— Нас записали в масоны, — объяснила ему я, пока со сцены зачитывали фамилии.

— А это хорошо или плохо? — спросил Вадим.

— Ну, кому как, — уклончиво ответила я. — Мне — плохо.

— А что ты будешь делать?

— Если моя фамилия там есть, подам в суд за клевету и вчиню иск за нанесение морального ущерба и урона деловой репутации.

— А какой тут ущерб?

— Ну, как — какой? Меня, христианского поэта, жену православного священника, обвинили в том, что я вступила в масонскую ложу.

— Да? — Вадим вдруг воспрял. Он выспался, и теперь глаза его сияли, а щеки розовели. Он выскочил на сцену и предложил всем:

— Давайте подадим на них в суд!

Все обрадовались, в рядах послышалось «в суд, в суд», и тут кто-то громко спросил:

— А за что?

— Как — за что? За моральный ущерб, за удар по деловой репутации, — радостно сообщил Вадим.

И тут мнения разделились. Раздались голоса, что, может, это не так плохо, ведь даже Пьер Безухов был масоном. Вспомнили, что читали о благотворительной деятельности масонских лож... Никто их никогда не видел, но слышали, будто у них высокие моральные правила... И лишь одна милая пожилая дама была в полном отчаянье.

— Что — масоны! Мы для них еще хуже! Мы — меневцы! Нашего отца Александра убили топором по голове, а теперь нас придут убивать!..

В ее глазах отразилась эта воображаемая картина, как она дрожит за запертой дверью, с ужасом прислушиваясь, а там, снаружи, притаились убийцы с топорами, подкарауливающие, когда она, наконец, выйдет и они совершат свое черное дело...

Я потом прочитала этот список. Примерно половина в нем состояла из бывших членов КПСС, но были и совершенно далекие и блаженные люди, вроде поэта Олега Чухонцева. Ну и Битов, само собой. Как же без него? А Вадима Рабиновича, автора шикарной книги «Алхимия», там, слава Богу, не было! Хотя кто-то мне рассказывал, что он слышал, как о Рабиновиче с его алхимической книгой кто-то из писательской «русской партии» отзывался: «Видный масон!»

Со смехом я рассказала эту историю одному дружественному монаху в Печорах. А через весьма малое время он мне говорит:

— Ты знаешь, тут такая ерунда вышла! Приехал Платонов, который составлял эти списки. А я ему сразу: «Что — и Олеся вы подозреваете?» А он отвечает: «Мы пока к ней присматриваемся!» А я ему: «Да вы что — она православный человек!» И решил дать ему почитать твою статью, которую ты мне привозила. Полез в ящик и протянул ему: «Читайте и убеждайтесь! Никакой она не масон». И что? Приходит он ко мне на следующий день и возвращает то, что я ему давал. «Ну что — поняли теперь?» А он смотрит на меня как-то странно и подозрительно. Ушел не попрощавшись.

А я, убирая твою статью обратно в стол, смотрю: ба! Да я перепутал! Дал ему не то, не апологетическую твою статью, а твой рассказ «Агент страхования» про еврея Сёму, страхового агента! Как ты считаешь, что он мог о тебе теперь подумать?

Я расхохоталась, попытавшись представить, как этот неизвестный мне Платонов читает сей рассказ с целью раскусить, есть ли у меня масонские нотки.

Так что для меня это прошло незаметно и даже меня повеселило, а вот Битов ментально пострадал. Он вдруг вообразил: а что если без его ведома масоны вот так взяли и записали его в свою ложу? Эта тема приобрела у него какой-то иррациональный обертон: ему, в этом причислении к масонам, в то время как он не только не давал на это согласия, но и вообще пребывал в неведении, чудилось метафизическое насилие. Было тут что-то сродни его детскому удивлению, о котором он рассказал в ту, самую первую, нашу встречу, когда он услышал от кого-то: «А мы о тебе вчера говорили».

И это подозрение не давало ему покоя, он даже спрашивал у моего мужа, может ли такое быть? Ведь вставляют его, не спрашивая, в редколлегии или попечительские советы каких-то журналов, в жюри конкурсов и премий!

Но мой муж сказал, что быть такого не может ни при каких обстоятельствах: насколько он читал про масонов, ритуал посвящения там очень сложный, а кроме того, для вступления в ложу требуется две рекомендации масонов высокого градуса.

— Если ты не проходил масонскую инициацию, то нечего и беспокоиться!

Он поверил, даже посмеялся, однако все же несколько раз возвращался к этой теме: масоны, левые, правые, западники, русофилы... А потом вообще заявил, что все это разделение на почвенников и либералов — всего лишь «дешевая разводка».

Время и пространство

Что мне в его рассуждениях казалось очень близким, это отношение ко времени: вот это: «так внезапно подступило все из глубины его стертых лет, будто и всегда было рядом, будто вчера, не в последовательности, не в протяженности, а сразу, вместе, на одном холсте, будто времени не существовало, а все происходило сразу: и сегодня, и вчера, и завтра — в одном пространстве».

Вот так и я чувствую себя в России, где все рядом: и Иван Грозный, и Пётр Первый, и разночинцы с террористами, и октябрьский переворот, и Гражданская война, и чекистские подвалы, и сталинские лагеря, и Царственные страстотерпцы, и святые подвижники, и раскольники, и хлысты, и «белые голуби» — все это здесь, ничего не минуло, все пребывает с нами, располагаясь в пространстве в том или ином приближении. И это ощущение я ношу с собой...

Пространство и время

1

Спрашиваешь: — Когда?

— Где-то на той неделе.

(Словно бы чуть поодаль — на пне хромом.)

— Где-то в эпоху Грозного...

(Словно у дальней ели.)

— Где-то в Смутное время...

(Словно за тем холмом.)

Густо заварено днями пространство. Битком набито:
не протолкнуться, не вклиниться, чтобы не задеть — в упор
то пролетарий с булыжником глянет темно, сердито,
то зрачком помавает цепкий тушинский вор.

Плотно заселено эпохами всхолмие. Крепко сжато
медленными веками — впритык и заподлицо
время покрыло землю...

— Где-то веке в десятом...

(То ли в сарай запихнули, то ль в сундук под крыльцо.)

Только себя окинешь оком довольным, гордо
голову вскинешь, твёрдо встанешь на землю, ан —
турки уже в Царьграде,
а под Москвою — орды,
моавитяне — в сердце и лупят в свой барабан.

И коль суждено нам встретиться — всего вернее залого
искать в Книге Жизни, совершить плагиат:
где-нибудь через сто дождей, когда-нибудь на дороге, —
там ещё облако чёрное, как пиратский фрегат.

2

Где-то лет двадцать назад, при царе Горохе, —
это за той горой, которая родила мышь
и на которую махом одним взлетаешь на вдохе, вздохе
и падаешь, как во сне, и летишь, летишь...

То есть попросту — в Тридесятом царстве, под топот конский,
такой хмельной подавали мёд на пиру,
что всех повязали спящими, увели в плен Вавилонский,
и они лишь сейчас очухались на хлестком чужом ветру.

Глядят, продирая глаза: пески, пёсии мухи,
тарабарские песни, змеи, пронырливые хорьки
и все — одни старики. Одни старики и старухи
с немолодыми детьми. Старухи да старики.

3

Спрашиваешь: — Когда?

— Где-то в районе лета,
Где-то около мая, где-то в седьмом часу...
И вот нас туда несёт, на стыках дрожа, карета,
и конь коренной летит и стелется на весу.

Так странствуем мы — то в Рим эпохи упадка, пены,
то в Ерусалим страстной, спускающийся с горы.
И преображается время в пространство, возводит стены
и вновь собирает камни, раскидывает шатры.

Тут что-то царица Савская высматривает на небе,
загадывает, зрачок вперяет — хоть плачь, хоть вынь:
— Когда же увижу вновь возлюбленного моего?

Но жребий
«Где-нибудь после смерти» — гласит ей. Аминь. Аминь.

Друг-брат-учитель-совопросник-конфидент

Часто тональности нашего общения с Битовым менялись, переключались регистры, то господствовали аккорды и созвучия, то диссонансы. И все это перемежалось паузами — то небольшими, то очень длительными. Но всегда существовали сквозные темы: Бог, творение, вера, суеверия, судьба, знаки судьбы, Промысл. Хотя подчас это все было вписано в самые легкомысленные и полушутливые разговоры: иногда мне казалось, что я могла бы так болтать с подружкой, особенно когда он меня просил растолковать сны, в которые верил.

Незадолго до смерти он позвонил мне из Питера и спрашивал, что может значить вот такая история. Он вышел по осени из своего дачного сортира, увидел серое тоскливое небо и произнес:

— Ну, сколько можно это терпеть?

И тут же услышал голос:

— Уже скоро, сержант!

Что за голос в безлюдье? И что за сержант?

И я в ответ рассказала две истории о том, как я дважды в своей жизни слышала подобные голоса, приходящие как бы ниоткуда, а на самом деле, из тонкого мира, где за нами охотятся бесы и охраняют ангелы. Первый раз это случилось со мной в шестнадцать лет, когда я увидела в полутемном коридоре поликлиники Литфонда, куда приехала на рентген, силуэт высокого молодого человека и тут же услышала голос: «Этот человек будет твоим мужем». Так и случилось. А второй раз, когда я, повернув по ночной поземке налево — к воротам своей дачи, увидела с ужасом, что на меня по встречке — слева же — несется на всех парах громадный черный автомобиль, метаясь прямо в мою водительскую дверь, и поняла, что это — конец. И тут услышала — голос был тот же — спокойный и уверенный:

— Не бойся, не бойся, не бойся!

И — о чудо — автомобиль шарахнул по левому крылу, пролетел по касательной, разбив фару и бампер, и врезался в сугроб.

Битов любил такие истории.

— А голос какой был — мужской, женский?

— Мужской, молодой. Тенор. А у тебя?

— Бесцветный.

Так и сказал.

Порой при встрече он становился таким внимательным и тепло-душевым, так подкупал меня своим доверием, что и я рассказывала свои тайные мысли. Когда у меня были очень сложные и непонятные отношения (вам не называю, с кем, но Битову назвала), он меня внимательно выслушал и ответил:

— Если вы ничего не высказывали и оставили вокруг себя огромное бессловесное пространство, то скажу тебе, что вы слишком далеко зашли.

Но и я ему как-то раз рассказала свой сон — про него: будто я в игорном доме, тут крупье в джентльменской «тройке» и с усиками и хозяин, и игроки, и нищие. И все — жулики. Накидываются на меня и хотят меня обобрать, расхитить. И я кричу: «Андрей, защити меня!» И Битов вбегает, но они бьют и его. Но, в конце концов, он вырывается и хватает меня за руку, увлекая оттуда прочь. И когда разжимает руку, у меня на руке оказываются огромные синяки.

— Ну, вот видишь, — сказал он, внимательно выслушав, — я же тебя спас! Защитил.

И правда — я к нему обращалась несколько раз как к защитнику, но просила не за себя, а за других: подписать письма в защиту. Одно из них было об освобождении моего бывшего сокурсника по Литинституту Павла Проценко, который уже на излете Перестройки был посажен в Киеве за то, что собирал документы и свидетельства о новомучениках.

Ко мне приехала его жена, специально прибывшая в Москву, чтобы собрать подписи известных людей под письмом в высшие инстанции. И, конечно, в первую очередь, мне вспомнился Битов. Я ему позвонила и отправила к нему эту бедную женщину. Письмо он подписал, но потом при встрече сказал:

— Приходила ко мне твоя... Скажи, а почему, если ты православная, обязательно надо повязывать платок до бровей и одеваться как чучело? Что это за правило такое?

— Это для смирения, — ответила я. — Чтобы тебя не смутить.

— Так вот именно что смутила. Ряженая какая-то. И говорит как-то приглушенно, специально пришепечывая. Вот это меня и настораживает в Церкви. Стилизация. Игра в «отсутствие эстетики».

— Битов, у нее муж сидит, а ты про эстетику!

Но я это запомнила: сама в этот период ходила в длинной черной юбке почти до пола, волосы гладко зачесаны назад: в монастыре меня принимали за приехавшую на богомолье монашку.

«Женский вопрос»

Последние годы он жил в Питере. Там вышла на работу его жена Наташа, которая, сидя в былые годы с маленьким Егоркой на занесенной снегом переделкинской даче («как девица в терему»), истосковалась по общению, по собственным лекциям (она преподавала на филфаке Петербургского университета) и, как она признавалась, «одичала». Да и Егору пора было в школу, надо было уезжать из Переделкино.

И мы стали видеться гораздо реже, разве что они приезжали на дачу на каникулы. Но, когда они здесь появлялись, мы, конечно, и сживали, и полуночничали вместе, и я возила всю их семью исповедоваться и причащаться в храм, где служит мой муж.

Наташа заходила ко мне пошептаться и пожаловаться на Битова за то, что он так часто и надолго уезжает, и она волнуется, и не без оснований: а где он? С кем он? А она ревнует, боится. Спрашивала, что делать, она из-за тревоги не может спать... А что я ей могла сказать? Что Битов всегда гуляет сам по себе, и единственное, что она может здесь сделать, это молиться Матери Божьей, чтобы она везде сопровождала его и за ним присматривала.

Наша общая с Битовым подруга, замечательная и прекрасная собой писательница Ирина сказала мне, когда мы с ней сидели на вечере в честь открытия памятника Мандельштаму в Москве, а наискосок от нас виднелся Битов с дочкой Анной:

— А ты слышала новое битовское открытие? Он вдруг узнал, что его отец — черкес?

Я слышала об этом, но не придавала этому значения: у него и раньше были какие-то сомнения насчет своего отца. На подозрении был «дядюшка Диккенс». Но, кажется, самой устойчивой версией было то, что он — из немцев. Ну, а теперь вот — черкес. Что ж, новый сюжет.

— А я поняла вот это все в Битове, когда он нам сказал про черкеса, — продолжала она. — Он — генетически мусульманин, многоженец. Это очень многое объясняет.

Я вспомнила, как к лицу ему был в Александрии мусульманский наряд.

Это, конечно, было остроумно, но совсем не верно: он считал себя христианином. Иное дело, что душа у него была расколота: «Два супостата в нас есть непрестанно борющиеся...»

У меня возникла совсем уж парадоксальная мысль. Я вспомнила его первую жену Ингу, которая, несмотря на уже весьма преклонный возраст, оставалась красавицей, свою крестницу Ольгу, Наташу и еще многих, кого он привораживал, а потом ускользал. И я вдруг подумала, что он, скорее, такой мирской «монах», от слова «монос»: с кем бы ни был, а всегда один. И даже когда он (почти всегда) метался между двух женщин, от одной прятался, а другой назначал свидание. Но две — это значит ни одной. Все это было суетно, хлопотно, игра не стоила свеч, поскольку вскоре эти женщины терялись из вида, оставляя едва не враждебные чувства. Однажды, поговорив с одной из них по телефону при мне, не скрывая раздражения, он с горечью произнес:

— Вот у тебя бывает такое? Вроде бы человек желает тебе только хорошего, старается, не глупый, заботливый, ты это понимаешь, ценишь, а ты иногда смотришь на него и... просто бесишься, так он тебе противен.. Просто до ненависти...

Он страдал от этого.

Вот — из его «Ожидание обезьян». Внутренний разговор героя/автора:

«— Слушай! Что это мы с тобой ни разу одну бабу не полюбили?

— А мне твои никогда не нравились. А моих ты стеснялся.

— Что ж, уж совсем ни одной, чтоб подошла обоим?

— Это уже любовь называется.

— Что ж, разве мы не любили ни разу?

— Ты думаешь, вам БЕЗ МЕНЯ (выделено мной. — О.Н.) было бы лучше?»

У Азы Алибековны

Мы, к сожалению, часто с ним виделись на похоронах. Вот и встретились у свежевырытой могилы поэта Анатолия Кобенкова на Переделкинском кладбище. После похорон пошли на поминки в столовую Дома творчества, сели рядом. После нескольких поминальных тостов он сказал:

— Что-то мне тошно, а пойдем лучше к тебе?

А у меня как раз шел грандиозный ремонт, приткнуться было некуда, везде шастали строители-украинцы, и вообще я собиралась ехать на именины к Азе Алибековне Тахо-Годи. Был День Натальи, она была крещена с этим именем. Я ему так и сказала.

— А возьми меня с собой, а? — просительно произнес он. — А то дома у меня полно народа, внуки... И мне очень бы хотелось с ней познакомиться. И вообще — хочется пообщаться с приличными людьми.

— Возьму, но если ты обещаешь, что будешь себя хорошо вести и покажешь себя с лучшей стороны...

— Обещаю!

И мы засмеялись оба и поехали.

Он позвонил жене, чтобы ее поздравить, ведь и у нее был День Ангела, и сказал, чтобы она не беспокоилась — он в надежных руках и едет в приличное место:

— Ты будешь рада — я еду на именины к самой Тахо-Годи!

Он положил трубку и произнес:

— Она сейчас лежит в больнице. Но она подтвердила, что рада за меня.

Да и сам он вдруг расцвел после похорон.

Я спросила у него, читал ли он книгу, которая получила последнюю Букеровскую премию. Он сказал:

— Нет, я, знаешь, вообще не читаю. Я вот председатель комиссии по наследию Платонова, а я и его не читал.

— ???

— Да, и Шолохова не читал!

— Что — и «Тихий Дон»?

— И «Тихий Дон».

Он выглядел очень довольным и наблюдал, какое это произведет на меня впечатление. Да ладно, мы люди бывалые, и не такое слыхали! Я неуверенно засмеялась. И он засмеялся.

— Да я вообще терпеть не могу читать!

И мы оба захохотали, почему-то ужасно развеселившись.

— Да я и не пишу ничего! Мой творческий портфельчик пуст. Сюжетов нет. Надоело писать.

И мы опять засмеялись.

Забрали из храма моего мужа, купили по дороге цветы и какие-то угощения, так и появились у именинницы. Аза Алибекова, увидев на пороге Битова и услышав извинения, что мы пришли не одни, по неизвестной причине как-то немножко напряглась.

— Ну, конечно, — решила пошутить я, чтобы исправить эту непредвиденную неловкую ситуацию, — все пришли на именины с подарком, а еврей привел с собой брата.

Не знаю, насколько моя шутка удалась, но Аза Алибекова хмыкнула из вежливости. Однако пригласила нас за стол, который был уже накрыт, и мы повели чинную беседу.

И тут Битов проявил весь свой ум, истратил полугодовой запас обаяния, блеснул познаниями и совершенно очаровал именинницу, которая поначалу глядела на него сурово и с какой-то опаской.

Когда мы уходили, она призналась, что была о нем прежде совсем иного мнения. Не знаю уж, что именно она имела в виду.

Наутро они оба мне позвонили. Сначала Аза Алибековна, которая благодарила за то, что мы «открыли» ей Битова.

А потом и он:

— Ну, как я себя вчера вел?

— Ты был обворожителен. Никогда тебя таким не видела. Всех обольстил.

Он засмеялся как-то молодо и счастливо.

А вскоре, через несколько месяцев, у него умерла Наташа, жена. И мы уже в той же столовой Дома творчества Переделкино сидели на поминках по ней...

Битов остался вдовцом с Егоркой, сыном-подростком. «Припадочный», — как он о себе безжалостно говорил.

Из его книги «Дерево»:

...Есть мера одиночеств,
Каких никто не знал, кроме тебя.

Да он и при жизни Натальи говорил: «Я одинок, как мерин».

Старец Авель

Но незадолго до этого была вот такая история.

Андрей принялся названивать мне из Питера и спрашивать про некоего старца Авеля, не знаю ли я такого. Я о нем никогда не слышала. Он очень просил про него узнать.

— Понимаешь, мне тут приснился сон...

И тут он рассказал, что ему явилась во сне его покойная мать. И она сказала, что ему надо поисповедоваться у некоего старца Авеля. Андрей, как человек с «мистическим измерением», пребывал в трепете и недоумении.

Я о таком старце никогда не слышала и у кого бы из знакомых священнослужителей ни пыталась узнать о нем, все пожимали плечами.

Но Андрей, потрясенный сном, снова и снова будоражил меня своими рассказами о явившейся ему во сне Ольге Алексеевне и вопросами о старце Авеле, имя которого тонуло в неизвестности, и я даже уже опасалась, уж не из раскольников ли он, не от лукавого ли это сновидение...

Наконец он приехал в Переделкино, зашел ко мне и опять приступил с вопросом. Честно говоря, я уже и не надеялась, что такой старец существует, но все же предложила ему позвонить моему мужу: он тогда работал в пресс-службе Московской Патриархии и мог там на месте хоть что-то разузнать о загадочном старце.

Он и позвонил, а у отца Владимира в кабинете как раз в это время сидели архиепископ Павел Рязанский и архимандрит Тихон (ныне оба — митрополиты).

Отстраняясь от трубки, отец Владимир переадресовывал вопрос к ним. На что владыка Павел ответил, что старец Авель очень даже хорошо ему знаком, поскольку подвизается в монастыре как раз в его Рязанской епархии. Он очень стар и немощен и никого уже не принимает. Но в то же время владыка тут же выказал готовность лично попросить старца побеседовать со знаменитым писателем. Мало того, он великодушно пригласил Андрея Георгиевича остановиться там же в монастыре, как только тот найдет возможность туда приехать. А архимандрит Тихон, который при этом присутствовал, все это слышал и тоже подключился. Тоже захотел принять участие в этом Божьем деле, предлагая помочь уже немолодому паломнику добраться до монастыря, довести его туда на своей машине.

И все это с восторгом мне пересказал мой муж, когда вернулся с работы. Вот и Битов тоже дивился столь чудесному разрешению всех недоумений и готовился поехать в Рязань. Но... Тут вмешались роковые силы судьбы. Каким-то образом он узнал, что отец его происходил из кавказского рода, был чуть не черкесом (чеченцем, адыгом, сам Битов порой путался), и есть селение, половина жителей которого носят фамилию Битов. И тут ему приоткрылись перспективы нового поворота жизни, нового сюжета, а значит, и написания нового романа. Да, он именно так это и объяснял: «творческий портфельчик» (его ироничное выражение) пуст, а, побывав там, я его пополню: ведь какой поворот судьбы! Напрасно я удивлялась и убеждала его, что после поездки к старцу Авелю он имеет куда больше шансов «пополнить портфельчик»! Нет, он собирался все-таки написать роман «Мой отец в Раю», о котором рассказывал мне еще лет за двенадцать до этого, когда мы плыли по Средиземному морю в счастливые края.

Короче, он сорвался с места и поехал туда. Но роман он так об этом и не написал, время потратил и вернулся в Москву тогда, когда мы получили скорбную весть о кончине славного старца Авеля.

Такая простая история о не-встрече.

Получалось, что покойная мать, посылая сына на исповедь к старцу, словно предупреждала его о грядущих страданиях, которые неожиданно через несколько месяцев обрушатся на него: смерть жены Натальи, совсем еще не старой и крепкой женщины, трудный подростковый возраст младшего сына, поджог прекрасной дачи под Питером...

Эта история была через пять лет описана архимандритом Тихоном в его книге «Несвятые святы», который все ждал звонка от Битова, чтобы везти его к старцу.

И что из этого получилось? Недружественный антицерковный портал, уязвленный триумфальным успехом «Несвятых святы», решил «поддеть», а то и вовсе скомпрометировать архимандрита Тихона, уличив его в обмане: дескать, не было такого, а архимандрит все это насочинил. Приехал корреспондент этого раскольничьего портала к Битову и прямо в лоб спросил: а что, являлась ли ему во сне покойная мать и посылала ли она его к старцу Авелю?

А он — забыл! Пять лет прошло с тех пор! Пять лет тяжких испытаний, болезней и скорбей! Напрочь забыл, как видел во сне покойную Ольгу Алексеевну, просившую его исполнить ее волю; как в мистическом трепете он искал этого старца и как чудесным образом его нашел, собирался поехать и исполнить все, что наказала ему мать, но так и не добрался к нему... Не успел. Ничего не произошло, поэтому и стерлось из памяти...

Вот он и ответил корреспонденту, что нет, покойная мать ему не являлась и о старце Авеле он, якобы, слышит впервые. А корреспонденту только этого и надо было! Он поднял шум-гам, по-нынешнему — «хайп», недоброжелатели архимандрита громко зажужжали в интернете, что отец Тихон-де «все о писателе Б. напридумывал» и «как ему можно после этого верить».

Это было очень несправедливо, обидно и нечестно. Тогда за дело взялся мой муж, у которого с Битовым были свои превосходные отношения: не только друзья, но и, можно сказать, духовные родственники. Он ему позвонил и все это напомнил: как тот весьма настойчиво спрашивал о старце, просил что-то о нем разузнать и найти; как все чудесно совпало и старец неожиданно отыскался; как мой муж тут же об этом сообщил ему по телефону со словами: «ищущий находит»; как самого писателя приглашали в Рязань, в этот монастырь, и как предлагали его туда отвезти...

И тут Андрей заохал и признался, что он стал все забывать. И что совсем недавно он видел сон, в котором мать его, стоя между корней со свечкой, сообщила ему час его рождения. И что он проснулся и кому-то это рассказал. А сам — забыл. И час своего рождения, и кому он это сообщил. А ведь, — добавил он, — это очень важно для гороскопа!

— Слушай, — вдруг сказал Битов. — А они что — корреспонденты эти, против тебя что-то имеют? Про тебя все выспрашивали. Но я им сказал: вы собираетесь «наехать» на Вигилянского? Но я вам тут не сообщник: это мой друг.

Так ответил брат наш Битов на вражеские инсинуации и интриги!

«Круглый стол»

Меня попросили позвать на «круглый стол», проходивший в Издательском Совете Московской Патриархии, известных писателей «православного исповедания». И я пригласила самых-самых и разных: от Валентина Распутина с Леонидом Бородиным до Битова с Ириной Роднянской, с Олегом Чухонцевым, Ириной Поволоцкой, Ренатой Гальцевой, Сергеем Чуприниным, Андреем Василевским и Александром Эбаноидзе. Некоторые, как Чухонцев и Распутин, не смогли прийти, но все равно собрание было весьма представительным. Мы должны были обсудить культурную стратегию Церкви. Однако православные-то православные, но не все были людьми церковными, а вел это Председатель Издательского Совета митрополит Климент, настоящий монах «от чрева матери», молитвенник, но человек совсем, как бы это выразиться, не светский, немного с иной лексикой, иным мышлением. Поэтому я ужасно волновалась, что из этого выйдет. Поначалу все чувствовали себя скованно, но потом обсуждение вошло в свое русло, я немного перевела дыхание. И вдруг Битов ка-ак встрепенется да ка-ак скажет, громко и совершенно не к месту:

— А еще они в армию зачем-то полезли, попы эти!

Все замерли и переглянулись. Кто-то стал ему разъяснять, что традиция присутствия капелланов в армии — повсеместна...

А я, сидевшая возле Битова, просто показала ему под столом кулак и сделала страшные глаза.

Он вздрогнул, словно пробудившись, и произнес речь, которая украсила бы любой Вселенский Собор твердостью в вере, верностью традициям и славословием Христу.

После «круглого стола» все разошлись, а мы с владыкой еще минут десять обсуждали, как это подавать прессе. Когда я вышла в заснеженную ночь, во дворе Издательского Совета горбатилась сугробом лишь моя машина. Я небрежно стряхнула с нее снег, рассчитывая, что заднее стекло и так оттает под теплыми струями печки, и тронулась задним ходом, как вдруг заметила темную и какую-то как бы бомжеватую фигуру, на которую я чуть было не наехала.

— Эй! — я открыла дверь, чтобы разглядеть этого человека, как вдруг он влез ко мне в кабину и плюхнулся на переднее сидение.

Битов!

— Ну, как я там сказал? Как выступил? Ты что — злишься? А я тебя ждал. Отвези меня домой.

И мы поехали.

— Видишь, Битов, когда ты был молодым преуспевающим писателем, а я — бедной студенткой, ты меня возил...

— А теперь ты возишь дедушку, — перебил он меня. — Я вот удивляюсь, как тебе удается на двух стульях сидеть?

— В смысле?

— Ты и в ПЕН-центре, ты и здесь своя, церковница! Как тебе это позволяют?

Я посмотрела на него, думая, что он шутит. Но он не шутил.

Тогда и я сказала серьезно и вызывающе:

— Я сижу на своем собственном стуле и сама себе это позволяю. Помнишь, как Снегирёв говорил: «Кем назначишь себя, тем и будешь»? Да и ты, мой друг, с того момента, как покрестился, тоже сидишь на своем.

— А почему ты меня все время поучаешь? — вдруг вскинулся он.

— Потому что ты бываешь порою глуп, братец Кролик!

Мы помолчали, следя за дворниками, которые почти не справлялись с летящим снегом, и тут он вновь произнес свою мантру:

— Я одинок, как мерин. А ты — не злись.

И прибавил, вылезая из машины:

— Время сокращается...

ПЕН-центр

Последние годы мы с ним встречались исключительно на официальных мероприятиях: на встрече писателей с Президентом, на церемонии вручения премии Правительства РФ, когда оба стали лауреатами, на его Пушкинской премии, на которую меня упорно не приглашала устроительница банкета, над чем мы с Битовым подшучивали, потому что это было очень глупо — так показывать свою маленькую административную власть; на собраниях ПЕН-центра...

Но на том ПЕНовском — скандальном — собрании, с которого пошел раскол и на котором в последний раз то ли вновь выбрали Битова Президентом, то ли продлили его полномочия, мы с ним почти не общались: просто поздоровались дружеским целованием, и все. Я слишком была погружена в иные ситуации.

Во-первых, я пришла на заседание после последнего в том году семинара в Литинституте, который обязательно надо было провести, хотя бы и передвинув на более ранний час. Поэтому я и приехала в институт в десять утра. Было морозно,

сумеречно. Студенты пришли в весьма малом количестве, как и у Рейна, который позвал Андрея Чернова выступить перед ними. Ну, и мне предложил объединить семинары. Но Чернов после своего выступления устроил у нас на кафедре грандиозный скандал и по поводу «Крымнаш», и в связи с сожженными людьми в Доме профсоюзов. Короче говоря, наш бывший комсомольский вождь, а ныне неистовый ультралиберал, обозвал нас с Рейном «ватниками» и кинул напоследок, что по нам плачет Гаагский трибунал. Поэтому на собрание ПЕНа мы отправились уже несколько возбужденные. Этим и объясняется то, что Евгений Борисович время от времени вскакивал и позорил тех, кто тихой сапой вывесил на логотипе ПЕНовского сайта трезубец.

А я села рядом с моим давним другом поэтом Виктором Гофманом, который был принят в ПЕН недавно, впервые попал на такое собрание, и поэтому все ему было в диковину. Он смотрел на всех свежим взглядом и очень смешно все это комментировал. В общем, мы сидели и легкомысленно покатывались с ним от смеха, несмотря на всю серьезность происходящего. Бывает такое: может, и правда, были там забавные персонажи, а, может, мы с ним просто давно не виделись и вот — рады были встретиться, соскучились! Пошли после этого собрания в ресторан и поели там вволю, разговаривая о музыке. О втором концерте Баха для двух скрипок с оркестром. Настолько мы были далеки от происходящего здесь и сейчас.

Так что с Андреем мы эту ситуацию так и не обсудили.

Последние месяцы

Битов часто мне звонил — то поболтать, то пожаловаться на жизнь («Я живу в аду!»), но и по церковным вопросам: у него родился правнук, и он спрашивал, можно ли, чтобы у него было сразу два крестных отца. Я ему ответила, что не знаю такого в церковной практике. Но он настаивал: он-то сам считал двоих людей своими крестными — архимандрита Торнике и Резо Габриадзе. А тут у ребенка уже есть назначенный крестный по другой родственной линии, но и он хочет быть таковым. И он желает прочесть над ним «Символ Веры» и ходить с зажженной свечой вокруг купели.

Кажется, это был едва ли не наш последний разговор.

Я прилетела из Лондона и сразу с аэродрома поехала в ЦДЛ, где отмечали юбилей Литературного института (мы там, кстати, с Андреем одно время преподавали вместе). Почему-то мне сказали, что это важно, и я обязана там быть. Проходя между рядами в зале, я услышала, как кто-то (кажется, это был Алексей, сын Юза Алешковского) сказал: «Битов умер! Его не смогли вывести из искусственной комы».

...Вот и кончились наши такие порой родственно-семейные, подчас дружественно-сокровенные и даже игривые, а иногда — мистические и серьезные отношения с этим безусловно важным для моей жизни человеком. Бывало, он вдруг обледеневал, смотрел, как осажденная крепость с задраенными оконцами, и надо было его «растопливать», цеплять каким-нибудь поворотом мысли или просто махнуть на это рукой: «Ну и пожалуйста, ну и ладно, ну и фиг с тобой!» Как говорил Снегирёв: «Тщеславие погубит тебя, Битов!» Но гораздо чаще выглядывала из его глаз такая обаятельная сокровенная душа, и губы складывались в блуждающую извиняющуюся улыбку.

Да и я у него кое-чему научилась.

Битов, будучи, на мой взгляд, писателем-экзистенциалистом, познающим реальность по мере ее описательного переживания или переживательного описания, дал мне увидеть и почувствовать этот «крен», который он совершал, преображая действительность в текст и прототипов — в своих персонажей. Ведь все, что он сочинил, имеет под собой реальную основу, но там произведен такой отбор, монтаж, купаж, смена ракурсов, что возникает нечто новое, лишь отдаленно напоминающее первоисточник. Кстати, и глагол *сочинил* — очень ему подходит. Это не значит — придумал, но сочетал характеры и события таким образом, что они выстроились по своему смыслу и чину, отбросив лишнее.

Недаром тема его диссертации, которую он писал, будучи аспирантом ИМЛИ, звучала так: «Проблема взаимоотношений автора и героя». За этим стояла идея «единого текста», эквивалентного его собственной судьбе.

«Он сказал или я подумал?»

Герой его романов и повестей порой неотличим от автора, и все же это всего лишь двойник, пребывающий в иной реальности, так что он имел власть, будучи порой излишне «sophisticated», и надмеваться, и куражиться над автором, охлаждая его пыл и сбивая спесь. И Битов иногда, не скрывая, завидовал ему. Но мне, признаться, автор был милее, ближе и дороже.

Ну и что еще мне сказать вослед? После отпевания, которое совершили наш друг протоиерей Валентин Асмус и мой муж, мы все отправились на поминки, поскольку хоронить Битова его дети решили в Питере, где он родился и вырос, жил в юности и в последние годы. А мы все разбрелись по автобусам. Задержавшись в храме, я вышла оттуда едва ли не самой последней, и выяснилось, что автобусы заняты: не было ни одного места. Но поодаль стоял еще один, вроде бы пустой. Я вошла туда, чтобы узнать, куда он едет, и оказалась там вместе с сыновьями Андрея — Иваном, моим крестником, и Егором, которого знала еще младенцем. Я вспоминала, как мы с Битовым, встретившись в ЦДЛ вскоре после рождения детей — моей старшей дочки Александрины и его сына Вани, сели пить кофе.

— Ну, как твоя дочь?

— А твой сын?

— Болеет. Такой был пухленький, а что-то исхудал.

— А вот наш детский врач... Дать телефон?

— Да у нас — свой. Такое ревнивое отношение друг к другу у этих врачей...

И еще вспоминала совсем маленького Егорку, ростом с высокий — выше колена — сапог Наташи.

И как он сидел, маленький, худенький, неприкаянный подросток, на поминках матери и смотрел отчужденно на взрослых, которые зачем-то собрались за столом и не имеют к его жизни никого отношения...

А то я вдруг вспомнила, как мы случайно встретились с Битовым на переделкинской даче Чухонцевых, и все были в ударе, читали стихи, говорили наперебой, пили вино, много вина! Все цвело и благоухало, это был май. Вечный май, какой-то провал во времени: все были юны и прекрасны. Расставались в три ночи. Битов почти не стоял на ногах, и я посадила его в машину, чтобы отвезти через две улицы в его домик.

Я врубила концерт Баха для двух скрипок с оркестром, который в те времена слушала непрестанно в машине, то мчась по шоссе, то стоя в пробках, и не могла оторваться от этой музыки. Эти скрипки то отчаянно спорили, то их голоса пересекались в контрапункте: одна жаловалась, а другая утешала. Одна напирала, другая отступала, жалко защищалась и всхлипывала. Одна оправдывалась, а другая укоряла... Я словно стянула это у себя же из своего романа «Мене, текел, фарес». Только там звучал Моцарт, когда моя героиня посадила к себе в машину духовника игумена Ерма и дала по газам, делая вид, что похищает его, увозя его от соблазна перейти в католичество...

«И закат был какой-то красный, как бы к холоду, к смуте, к беде. Мы летели в пространство, и музыка ломилась к нам, звуча все громче, щемя все больше, желая уязвить до смерти, оглушить, заставить понимать только ее.

— Она похитила игумена Ерма! — изумленно кричали провожающие нас деревья, летящие облака.

— Она хочет переиграть Промысл! Она заигрывает с возмездьем! Она искушает судьбу! — било в окна красное отчаянное закатывающееся солнце.

— Да что это с вами? — встревоженно спросил отец Ерм. — Остановитесь!

Но музыка была так стремительна, так огромна, она столько пророчила бедному сердцу, подстрекая, рая и будоража. И я выжала до отказа педаль.

— Да стойте же вы! — приказал игумен. — Я не желаю этого слушать! Верните меня назад!

Но Моцарт призывал все новые скрипки, и за них вступались виолончели, альты, флейты, пререкались душные контрабасы — они так хотели бы все повернуть вспять, именно что возратить назад! Но вся тема была построена на "невозможно!", замешана на "не бывает!", закручена на "не может быть!" А они, эти скрипки, все пытались свое "а все-таки?.." А они все подкрадывались со своим "а если?..". Вламывались со своим "а вдруг?"

— Да что здесь творится? — отец Ерм наконец разозлился. — Остановитесь!»

Это была совсем новая литературная ситуация — одно дело воссоздавать в романе преображенную реальность, а совсем другое — воплощать в жизнь написанное тобою когда-то с изрядной долей воображения.

Мы давно подъехали к битовской даче, но все продолжали слушать, пока не замерли заключительные, особенно отчаянные звуки третьей части концерта. Тогда он неловко вылез, сильно шатаясь, и я поняла, что надо ему помочь: буквально доволокла его, как раненого — санитарка, и всунула в дверь.

— Зайди на минуту. Чаю хоть попьем! — попросил он.

Добрался до кухни, огляделся и с грустью показал мне пустую коробку от чая.

— Здесь жили мои дети, а я приехал только вчера. Ни-че-го мне не оставили: ни чая, ни хлеба, ни сигарет!

— Пойдем ко мне, напою тебя чаем, — предложила я.

— Нет, — он помотал головой, — но я тебя провожу... А что это за самоплагиат ты устроила? Все эти скрипочки, бешеная езда? Я думал, ты меня убьешь напоследок.

Он понял, прочитал-таки! Воистину брат мой!

Ему одному из первых подарила тогда этот роман.

И, цепляясь за стену, он стал выбираться из прихожей на крыльцо, поставил было ногу на ступеньку, но оступился и загремел вниз, прямо на скамью, которая стояла

у подножья лестницы. Стукнулся головой так, что сломал эту скамью и остался лежать без движения, без признаков жизни.

Я застыла от ужаса: погиб! А что делать? Три часа ночи, вокруг темно, телефона у меня с собой нет...

— Битов, — жалобно позвала я, нагнувшись к нему. — Битов, миленький, очнись! Ну, пожалуйста, — я заплакала.

И тут он перевернулся на другой бок и захрапел.

Я его растолкала, втащила в дом и отправилась восвояси, все еще не в состоянии прийти в себя после потрясения.

На следующий день я малодушно боялась ему позвонить: а вдруг там самое страшное? Но он сам пришел. Не то чтобы «как огурчик», но вполне вменяемый, разговорчивый и дружелюбный. Смеялся, когда я ему рассказывала про его вчерашнее падение.

— Да? А я сегодня смотрю: почему скамья разломана в щепу?

Так и расстались после полуночи.

Или — явилось совсем нелепое воспоминание, как он пришел к нам, а у нас сидел гость, приехавший откуда-то, где ловят вкуснейших рыб, которых и привез нам. На столе стояло блюдо с осетриной и бутылка французского вина. А это был Петров пост, да к тому же и времена, скудные на гастрономические изыски. И я, вводя Битова в комнату, говорю ему, неофиту, показывая на блюдо с осетриной и вино:

— Так постятся православные христиане!

Или — как мы шли по лесу — еще там, в Небылом, и потеряли из вида моего мужа и отца Зинова, и заблудились. Или — как мы плыли на корабле и наблюдали по ночам Южный Крест. Или — как мы договорились встретиться в Тбилиси на нейтральной почве, на проспекте Руставели у Кашветской церкви, и Битов пришел, неся перед собой красную розу. Или — как мы с ним зашли к нему на дачу, а перед ней на роликах катался его очаровательный внук, сын Вани, — в шлеме, в наколенниках, в налокотниках, во всем снаряжении, и Битов сказал, заглядевшись на него: «Как же все-таки Бог меня, негодного, любит», — и прослезился, прикрывая глаза рукой. Или — как я впервые увидела его в прихожей у меня дома и почему-то сразу поняла, что это не случайный человек, и я буду каким-то образом связана с ним на всю жизнь. Так и получилось. И еще он тогда сказал моим родителям:

— Талантливая у вас дочь!

Это было при мне. А мне было шестнадцать лет.

...И мы долго ехали втроем, автобус стоял в пробках, еле полз, еле двигался, менял маршрут и опять застревал, а мне казалось, что это Битов так устроил напоследок. И сейчас присутствует тут незримо, довольный: получилось как-то так, как и должно быть в финале хорошего романа или фильма.

И так мы ехали, ехали, уже и фильм сняли, уже и прокрутили его до самого конца, пошли титры, а мы все ехали, ехали, пока на экране не погас свет.

P.S.

Посмертные посланья

А.Б.

1

О тебе для рассказа я слов не нашла:
косоглазьем болеет глагол,
всё двоится, и мимо летает стрела,
и сокольный гол, как сокол.

Надо было записывать путь, жизнеход,
каждой мысли твоей поворот,
каждый жест, каждый вывих, каприз, оборот
и внизу ставить дату и год;

А теперь — как багрянца и охры накал
описать, если снизу ползёт,
осыпаясь, земли суеверной провал,
этой пасмурной умбры испод?

...Ты и сам еще в стане живых что-то мне
говорил о незримых следах,
о таинственных связях явлений, о не-
описуемом в наших садах.

Что сияло и веяло там, за канвой:
трепет сердца и ангельский лик —
может разве что в образе ласточки твой
отразить бестолковый язык.

А ещё рассказать, как граница тонка,
как безмолвия грусть глубока,
как в небесную реку земная река
возвращает её облака.

2

Побеждающему дам... белый камень и на камне
написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает...

Откровение Иоанна Богослова

Люблю слова, которые по звуку
воспроизводят смысл: жёсть, жар, заноза, жжёт.
Ещё сюда прибавь растрavu и разлуку,
а счастье — убери, его звучанье лжёт.

Царапают шипы, цепляет заусенец, —
всё достоверно здесь, как горечь, плач — горюч.
Блаженствует душа, как розовый младенец,
к загадочным вещам свой подбирая ключ.

Мы оба — слух и речь, язык и ухо, оба — с
наушником: в космический провал
натянут проводок, откуда первообраз
сам выразил себя и сам себя назвал.

...Послушай, как ты там — над облаком ли, в дыме,
на светлой стороне?
В гостях у высоты
всё новое — язык, обличье, голос, имя.
Там, названный, поймёшь по звуку, кто же ты.

3

В России Хронос побеждён,
к пространству пригвождён:
с погодой слит, с рельефом свит
и звёздами блазнит.

Здесь Ленин Сталина дерёт
за рыжие усы.
Здесь Сталин Ленина ведёт,
схвативши под уздцы.

И птица Сирий здесь поёт
невиданной красы.
И в недрах — Древний Змей живёт,
и в кузнях — кузнецы.

Башмачкин мокрый снег жуёт,
Тряпичкин жжёт чубук.
И Клячкин открывает рот,
да вырубил звук.

Все рядом: там — приказчик пьян.
Ямщик попал в буран.
Святая Ольга жжёт древлян,
бьёт заяц в барабан.

Бомбист таскает динамит,
язык ломает фрик,
чело Державина томит
напудренный парик.

И стелятся туман и дым,
и Врангель входит в Крым.
Прощается славянка с ним,
а я останусь с ним.

Эпох сливаются слои,
хоть в славе, хоть в крови,
где все чужие — как свои,
пускай и визави.

Глядит зелёная звезда,
Земля пред ней, что взвесь,
и говорит, что навсегда
мы вместе будем здесь!